

ДМИТРИЙ БАКИН СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ДМИТРИЙ БАКИН
СТРАНА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Дмитрий Бакин

Страна происхождения



Дмитрий Бакин

СТРАНА

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

рассказы



Лимбус Пресс
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1996

Д. Бакин

Страна происхождения: Рассказы/СПб.: Лимбус Пресс, 1996. – 160 с.

Первая "большая" книга Д. Бакина – молодого московского писателя, чей голос властно заявил о себе в современной русской литературе. Публикация рассказов в "Огоньке", книга, изданная во Франции... И единодушное признание критики: в русской литературе появился новый значительный мастер.

ISBN 5-8370-0346-0

© Д. Бакин, 1996.

© А. Веселов. Оформление, 1996.

Содержание

Л истья	6
З емлемер	43
О ружие	67
С трана происхождения	73
К орень и цель	89
П ро падение пропадом	115
Л агофтальм.....	134

ЛИСТЯ

Мальчишкой двенадцати лет он пришел в поселок со стороны поля, так что река была у него по левую сторону, а лес по правую, и прежде чем попасть в поселок, прошел через кладбище без ограды по тропинке, усыпанной речным песком, и его босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, чувствовали неизменный холод земли. Он пересек пустырь, миновал дом на отшибе, не постукавшись, потому что знал — на отшибе живут угрюмые, жесткие люди, готовые к бегству, — миновал второй дом, потому что тот был слишком велик, миновал обломки третьего дома, а в четвертом был принят грязным одноруким мужчиной и крепкой подслеповатой женщиной, семнадцать лет бездетности ожидавшими прихода Иисуса Христа. Некоторое время они молча смотрели на него, потом ушли в соседнюю комнату и о чем-то тихо говорили, потом вернулись. Однорукий мужчина сел за стол, а женщина стояла сбоку и смотрела в стену. Мужчина спросил — ты откуда?; он молчал, глядя мужчине в грудь; мужчина сказал — ты родился в этом доме до войны; глядя мужчине в грудь, он сказал — нет; мужчина поднял руку и указательным пальцем ткнул в сторону незастеленной кровати — вот здесь; он сказал — нет; муж-

чина хмуро сказал — ты родился двенадцать лет назад, тебе двенадцать лет, ты родился в августе; женщина, по-прежнему глядя в стену, сказала — в первое воскресенье сентября; мужчина повернул к ней застывшее, сосредоточенное лицо, челюсть его задвигалась, потом отвернулся и сказал — в сентябре; он сказал — нет; мужчина встал и сказал — точка.

Наутро он был умыт, подстрижен, накормлен супом из крапивы и прибит гвоздями к фамилии Бедолагин. Три раза он пытался бежать из дома однорукого мужчины и подслеповатой женщины и три раза был пойман — два раза в лесу, где ел улиток после дождя, отыскивая их под камнями или отдирая от намокших коряг, и один раз на железнодорожной станции, где ждал поезда, не заметив, что рельсы разобраны. После этого он больше не пытался бежать, молча делал все, что просили, старательно избегая смотреть на людей. Однорукый мужчина как-то сказал — ему стыдно за нас. Но женщина сказала, что это — смирение.

Когда военнопленные немцы уложили рельсы на новые деревянные шпалы и укрепили насыпь там, где она была разрушена взрывами бомб, и путь к бегству был открыт для каждого, умер однорукый мужчина. Перед тем, как умереть, он две недели не вставал с кровати, если не считать тех редких случаев, когда выходил на улицу по нужде, что случалось все реже, по мере приближения смерти, потому что он ничего не ел и не пил. Под двумя одеялами и рыжей от сырости шинелью, под туго натянутым чехлом высохшей кожи его кости не чувствовали ни жары, ни холода — как раз тогда он сказал женщине, что человек чувствует жару и холод костями и голод и жару костями. Больше он ничего не сказал, потому что имел полное право за-

быть значение всех слов. Руководимый теми, кто давно умер, он подчинил каждую клетку своего организма стремлению к смерти, отказываясь от лекарств и целебных настоек, которые пыталась влить в него женщина в минуты забвения.

Сидя в углу и все еще чувствуя себя чужим, Бедолагин-младший впервые с тех пор, как пришел в поселок со стороны поля и попал в этот дом, открыто, не пряча глаз, разглядывал подслеповатую женщину и однорукого мужчину, который умирал. Женщина говорила что-то мужчине глухим, мрачным голосом, звучащим неторопливо и размеренно, точно бой часов, а потом поняла, что он ничего не ответит, потому что не понимает больше человеческих слов. Она выпрямилась, медленно отошла от кровати и посмотрела на Бедолагина-младшего. Он смотрел ей в лицо и в глаза, не отводя взгляда, ибо знал уже, что останется в этом доме навсегда и займет место однорукого мужчины по неписаному земному закону, когда жизнь занимает место, освобожденное смертью, и на нее обрушивается наследство.

Бедолагин-младший, который стал просто Бедолагиным и открыто смотрел на людей, не пошел на кладбище, куда понесли однорукого мужчину, подняв на гребень волны одинокого плача, после того, как бабка, проживавшая на отшибе, обмыла его и побрила, припудрив синие щеки пылью красного цветка. Но те, которые несли однорукого мужчину, и те, которые сопровождали гроб, не могли избавиться от уверенности, что Бедолагин-младший следует за ними, прячась в подворотнях, перебегая от дерева к дереву, от дома к дому, а потом, спрятавшись за могилами, следит, как они его хоронят. Сидя за столом в доме Бедолагиных

в день поминок, пьяная от самогона и недоедания бабка, проживавшая на отшибе, пела хвалебные гимны однорукому, вертясь на стуле, точно маленький смерч пуха и праха, едва сохраняя равновесие и глядя на Бедолагина-младшего, который сидел напротив, обезвоженными коричневыми глазами, блестящими, как полированное дерево, сказала — вот плод — и сказала — мертвого семени. Первой встала и начала прощаться. В движениях ее не было и тени обреченности, какая появляется в движениях людей задолго до старости. Однако никто не решался прикоснуться к ней, опасаясь, что она рассыплется пылью, подобно стариинной вазе, пролежавшей века на дне океана в неподвижном растворе воды, соли и времени, и прощались с ней только глазами, как прощаются с миражом.

Летом того года, когда умер однорукий мужчина и когда стало известно, что война окончена на западе, но не окончена на востоке, и через всю страну в длинных эшелонах провезли тела и души солдат, еще способных воевать, а также уцелевшую в боях военную технику, погруженную на стальные платформы, а в санитарных эшелонах провезли глаза оглохших, уши ослепших, мычание онемевших, жажду раненных в живот, война для которых окончена раз и навсегда, женщины поселка, гонимые голодом, прихватив котомки, узелки и сумки, ушли в сторону Херсона, где надеялись на пожитки, не тронутые немцами, выменять семена, патрубки, домашнюю птицу и скотину. Несколько калек, демобилизованных в начале войны, несколько контуженных, а также женатый дурак, имевший военную бронь, предписывавшую ему не трогаться с места, стояли посреди мертвого поля и смотрели, как нагруженные женщины идут по белой пыльной до-

роге, минуют сосновый бор и церковь на холме, а потом скрываются за поворотом, и ни один из них не верил, что они вернуться, пребывая в убеждении, что белая пыльная дорога и есть та дорога, по которой можно идти вечно и бесследно исчезнуть, растворившись в воздухе. В поселке мужчины разошлись по домам, проклиная свою немощь, запирая двери на все замки, щеколды и засовы в надежде отгородиться от мира, где, растворившись в воздухе, бесследно исчезли женщины; обставились бутылками, бутылками, ведрами и канистрами с самогоном, очертив ими круг своих владений, и погрузились в тяжелые волны опьянения, засыпая в поисках ответа, убежденные в том, что всему, что снится, предначертано верить, ибо реальность — половина правды и нигде людям искать вторую половину правды, кроме как во сне. Таким образом, выстроив себе тюрьмы, казематы и темницы, чего требовали поиски правды, они прожили за решеткой своей немощи две недели, в течение которых погрязли в бесплодных раздумьях, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков, замусоленных окурков и кусков глины от сапог; среди сгущавшейся мглы, на ничейной земле; забыв название того, на поиски чего шли.

Между тем дети, получившие полную свободу, с рассвета и до заката долгих летних дней пропадали в лесу, где искали разрушенные, засыпанные блиндажи и брошенные землянки, возились в тесноте земли, рискуя быть заваленными прогнившими бревнами, натываясь на рваные осколки, ржавые тросы для буксировки, полуистлевшие куски прорезины, хомуты, рассчитывая найти оружие и боеприпасы, чтобы взорвать их в огне костра.

В начале третьей недели женщины вернулись, впряженные в лямки котомок и сумок, застав во дворах сдыхающих от голода собак, одичавших кошек и взъерошенных ворон на крышах домов. Жена дурака вошла во двор, затащив туда же тощую, грязную козу, глядя на которую можно было твердо сказать, что она мертва, если бы та не перебирала ногами, привязала ее к изгороди и устало двинулась к дому, но входная дверь оказалась закрытой изнутри. Она колотила в дверь руками, ногами, древком лопаты, обухом топора, камнями, с разбегу налетала на дверь плечом и надтреснутым, жутким голосом выкрикивала ругательства, собираясь высаживать оконные стекла, как дверь со скрипом отворилась и показалось желтое, как песок, небритое, перекошенное удивлением лицо и на нее уставились неподвижные, безумные глаза, какими провожали ее одичавшие коты, когда она шла по поселку к дому, а поверх желтого лица шевелились скатавшиеся волосы, а по бокам топырились уши, забитые серой сукровицей. Прошло много времени, прежде чем в этом потустороннем существе она узнала своего ненормального мужа, который рухнул на пороге, обхватив ее руками, и, уткнувшись в юбку, пускал слюни и бормотал о святой перасторжимости брака. Тогда она утробно застонала и сказала — боже — и сказала — чтоб ты сдох, сукин ты сын, — и опять сказала — боже. Она помогла ему подняться и завела в дом, где над сломанными табуретами, битыми бутылками, затоптанными старыми дагерротипами умерших в прошлом веке родственников, с гулом носились сотни зеленых и черных мух. Она сказала — боже, ой, боже — и сказала — боже, сделай меня вдовой — и сказала — чтоб ты сдох, сукин ты, сукин ты сын. Примерно то же происходило

в других домах поселка, где мужчин, вытщенных за уши из миазматического тумана, отмывали и одевали в чистое, забрасывали камнями проклятий и били по рожам, а все способное помутить рассудок, вплоть до прокисших яблок, было немедленно спрятано или беспощадно уничтожено, и по мере того как катились черные шары дней, женщины, вытеснившие хмельное зелье или заменившие его, заставили мужчин поверить, что они и есть та правда, которую мужчины упорно искали, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков и замусоленных окурков; среди сгущавшейся мглы на ничейной земле.

Бедолагин, не принимавший участия в играх, которые устраивали его сверстники, желавшие испытать судьбу, все более замыкался в себе, предпочитая внешней жизни внутреннюю, но все дороги, по которым он шел к призрачным целям, способным утолить жажду познания, были дорогами прочь. Они позвали его, когда он стоял в длинной голодной очереди перед одноэтажным дощатым бараком, куда завезли хлеб и мыло, и он пошел за ними. Они остановились у задней стены барака и, усмехаясь, указали на щель между покоробившимися досками и сказали ему — ну-ка, смотри. Он нагнулся и посмотрел в щель и увидел пыльный сумрачный магазинный склад, мешки с мукой, мешки с хлебом, а на мешках директор магазина задирает юбку продавщицы, опрокинув ее на спину, и ее сопротивление было равно сопротивлению воды по отношению к пловцу, который хочет плыть слишком быстро. Бедолагин не видел ее лица, но по содроганиям тела понял, что она смеется, а потом директор магазина расстегнул штаны и полез на нее. Бедолагин выпрямился, а они смотрели на него, усмехаясь. Один

сказал — во подлюга, а?; другой сказал — если б их сейчас напугать, они б так и не расцепились, как собаки; третий сказал — как вагоны; вожак сказал — пусть он идет — и сказал Бедолагину — ты иди, а то он скоро с нее слезет, и она магазин откроет; другой сказал — еще насмотришься, они всегда так.

Его привели в школу, пахнувшую лошаадьми, где между газетных строк он записывал то, что ему диктовали, а также пел в хоре под огромным портретом мужчины с прищуренными властными глазами. Учитель пения стучал линейкой, тяжелой, как шлагбаум, по черепам тех, кто не успевал захлопнуть пасть одновременно с теми, кто успевал.

Осенью их водили в палисадник, и они собирали павшую листву самодельными деревянными граблями и метлами, сгребая в большие, рыхлые кучи, которые изо дня в день становились все больше и темней, а потом, когда деревья облетали и стояли голые, они поджигали листья, и до зимы их одежда пахла дымом и горечью.

В туманные дни подслеповатая женщина уходила в поле собирать колоски, рискуя попасть за решетку сроком на десять лет, и, в то время как она ползала на четвереньках по черной пашне, тронутой изморозью, Бедолагин прятался за железнодорожной насыпью и следил, чтобы не нагрязнул объездчик. Потом она подавала ему знак, и он шел вдоль насыпи до моста, и страх не давал ему замерзнуть, а под мостом они встречались, бледные и грязные, и она говорила — эх, гады, он говорил — ладно, она говорила — эх, гады — и говорила это до самого дома.

И всегда, где бы он ни был, в нем главенствовало стремление неподвижно стоять в стороне от мутного

потока лет, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия, и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди,— неподвижно стоять в стороне и давать им советы, обманув тень закона, которая падает на голову каждого с момента рождения.

Со временем его мысли и желания изменились, наполнив голову женщинами всех цветов — они любили его и звали, но дороги к ним он не знал. В надежде найти дорогу он слушал бабуку, проживавшую на отшибе, которая нередко приходила к ним вечерами и, сидя за столом, раскачивалась на стуле, едва сохраняя равновесие, как пять лет назад на поминках однорукого мужчины,— и ему давно было ясно, что она пребывает на земле как оружие мертвых, и мертвые говорят ее устами, чтобы предостеречь живых в том, что при жизни остается неясным,— и она вещала сиплым, надломленным, ледяным голосом, сквозь хрипы в груди и в горле, сквозь кашель, чихание и насморк — как поступить, чтобы не подохнуть с голоду — на ведро воды — говорила она — одну ложку отрубей, две кильки и лебеду — как не забеременеть, как принимать роды, чем кормить коз зимой, чем лечиться от туберкулеза и дизентерии. Бедолагин притворился спящим в тот вечер, когда Анну, двадцати пяти лет от роду, выгнали из дома за все безумные ночи, которые она проводила в коллекции своих мужчин, и она пришла к ним, застав бабуку, подслеповатую женщину и французскую маркизу, эмигрировавшую из Франции в начале века, за разговором. Несколько позже бабука сказала ей — женщина, которая идет от меньшего к большему, а от большего к еще большему, в конце концов удовольствуется самым малым, потому что всегда найдется много та-

кого, чего она не сможет вместить; Анна сказала — нет; подслеповатая женщина сказала — тише; бабка сказала — он спит; Анна сказала — он не спит; маркиза сказала — все женщины в двадцать пять лет надшие; бабка сказала — тот, кто велел нам быть, не простит; Анна сказала — никто нам быть не велел. Мы порождение взрыва.

Он спал, когда поздно вечером к ним в дом пришел вершить судьбу полковник теневых войск, рослый, угрюмый, немолодой мужчина, освобождавший поселок от немцев за год до того, как Бедолагин-младший был провозглашен Бедолагиным и узнал тяжесть фамильных и наследственных проклятий. Но это был уже не тот артиллерийский полковник, квартировавший в доме Бедолагиных, каким его помнили в поселке, и не тот, что выскочил на крыльцо с посеревшим от бессонной ярости лицом, когда в результате неправильной наводки три истребителя с красными точками звезд расстреливали освобожденный поселок и колонну его солдат вместе с лошадьми, повозками и пушками, и не тот, что протягивал огромные руки с растопыренными скрюченными пальцами к небу и самолетам, точно хотел дотянуться, достать, стащить их оттуда и сломать об колено, — тот голосом, выворачивающим внутренности, орал — куда! Не стрелять! Ведь мы здесь! Это мы! Махать им флагом! — тот плакал, но продолжал орать и хрипеть, точно расстроенный инструмент во время настройки, и многие видели, как у того кровь хлынула горлом, и он падал с крыльца, цепляясь за перила. Солдаты подняли того, положили в повозку, укрыли мешковиной и повезли воевать. Этот вернулся поздно вечером, через шесть лет и два месяца, оставив того в повозке, укрытого мешковиной, пропитанной трупной вонью, или на одном из витков

спирали, которая вела его вверх и в тень,— больше проститутка, чем солдат, не видящий иного выхода, кроме женитьбы, не предсказуемый в поступках, с лицом, застывшим в параличе ответственности,— зашел в дом, когда Бедолагин спал, и сказал подслеповатой женщине, чтобы она собиралась, и сказал многое другое. Утром подслеповатая женщина сказала Бедолагину, что уезжает. Она говорила долго, глухим, мрачным голосом, которым обращалась к однорукому мужчине, сбросившему с себя бремя понимания. Бедолагин спросил — как он узнал, что ваш муж помер?; глядя в стену, она сказала — я писала ему — и сказала — он говорит, чтобы ты ехал с нами; он спросил — куда?; она сказала — в Москву; он сказал — я не поеду; она сказала — я так и знала. Вошел полковник и сказал, что пора ехать в город к нотариусу. Бедолагин сказал — уйдите. Полковник молча вышел. Подслеповатая женщина сказала — ты сопляк; он сказал — это мой дом. Они поехали в город, купили водки и пошли к нотариусу, где подслеповатая женщина оформила дарственную и кое-какие документы, согласно которым Бедолагин по достижении совершеннолетия вступал в права домовладельца, что должно было произойти через три месяца. Перед отъездом полковник сказал ему — что есть, рано или поздно перестает быть, и тогда на смену приходит что-то другое, но не всегда лучшее. Потом они уехали. И Бедолагин сделал то, что сделали калеки и контуженные, когда женщины, гонимые голодом, ушли по белой пыльной дороге, и бесследно исчезли, растворившись в воздухе. В течение часа он сидел перед пустой пол-литровой бутылкой, думая об избавлении и тоскуя по теплу материнской утробы, потом, шатаясь и икая, вышел во двор, вознамерившись осмотреть са-

мую легковесную и незначительную часть наследства, состоявшую из трех строений — дома с прилегающей к нему летней кухней, черного от дождей сарая, который, строго говоря, не был сараем, а был, скорее, навесом для дров и погребом; бродил между яблонь и слив, считал грядки, засаженные свеклой и картофелем. Шатнувшись в летнюю кухню на крысиный писк и перевернув там кастрюли, миски и жаровни, он увидел два вещмешка, оставленных полковником, в которых нашел десяток темно-зеленых жестяных банок с паштетом, плитки шоколада, галеты, банки с тушенкой, покрытые толстым слоем солидола, а кроме того, солдатское нижнее белье, офицерский бушлат, офицерские сапоги и новые обмотки.

Утром ему было плохо, как никогда, если не считать момента рождения. К нему пристала кошка, которая прожила в доме один день и одну ночь и ушла, оставив блох и кошачий запах. Он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — что делать, если в доме завелись блохи?; она сказала — нарви полыни и выложи ею пол — а потом сказала — не пускай в дом кошек. Он нарвал полыни и выложил ею пол.

Неделю спустя к нему пришла Анна и вошла в комнату, где среди высохшей полыни, противотанковых рвов, маскировочных сеток и баррикад, созданных его пьяным воображением, чтобы оградить дом от проникновения кошек, Бедолагин допивал предпоследнюю бутылку самогона из тех, что были в кладовке подслеповатой женщины и предназначались для бабки, проживавшей на отшибе, и для французской маркизы, эмигрировавшей из Франции в начале века. Он поднял голову и сквозь прозрачную непрошибаемую стену пьяного отчуждения увидел двадцатипятилет-

ную женщину, которая подошла к нему по хрустящей полыни и, глядя в глаза, щелкнула пальцем по больному месту так, что он отскочил в угол. И тогда он почувствовал, что непрошибаемая, прозрачная стена, способная выдержать метеоритный дождь, трещит, рушится и рассыпается прахом от одного щелчка женских пальцев, оставив его, голого, незащищенного и жалкого, рухнувшего в грязный поток времени, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди. Она сказала — меня выгнали из дома,— так она сказала, и погибельная, демоническая улыбка играла у нее на губах; он сказал — ну; она сказала — хотела переночевать здесь — так она сказала; он сказал — послушай, шла бы...; она сказала — мне, ей-богу, негде ночевать — так она сказала; он сказал — ладно; она сказала — мне, ей-богу, негде ночевать — так она сказала; он сказал — ладно; она сказала — спасибо — так она сказала и захохотала; он посмотрел на нее и сказал — если ты еще раз засмеешься, я набью тебе морду, если ты полезешь ко мне ночью, я набью тебе морду, если в семь часов утра ты еще будешь в моем доме, я набью тебе морду — так он сказал, потому что ему не терпелось взяться за восстановление прозрачной непрошибаемой стены, которая рассыпалась от одного щелчка ее пальцев.

Разумеется, она пришла к нему ночью — он слышал, как хрустела полынь под ее босыми ногами, и вместо того чтобы набить ей морду, сказал — здесь блохи; она сказала — если блохи здесь, они везде; он сказал — они везде; она сказала — не беда — и спросила — сколько тебе лет? семнадцать?; он сказал — может, и пятьдесят, но они сказали, что семнадцать; она сказала

параспев — ну, хватит болтать. И она обрушила на него шквалы огня и вспышки беззвучных взрывов, каким не подвергался ни один новобранец, попавший на передовую, и ни один мертвец, попавший в печь крематория; ее губы, руки, грудь и ноги били током; она вызвала землетрясение и жгучий ветер, превратив тела в текущую раскаленную лаву, и слепящий свет чередовался с душной, липкой тьмой — она вертела им, как вздумается, а он решил, что так сотворялась вселенная.

Утром она ушла, а он смотрел ей вслед и думал — она вернется. Месяц он не убирал с пола высохшую пыль, рассчитывая проснуться ночью и услышать хрустящие шаги и увидеть погибельную улыбку в темноте ожидания. Потом пыль превратилась в труху, и он вынужден был ее вымести, потому что в доме завелись мыши и мышиный шорох по ночам он часто принимал за легкую поступь босых жепских ног. Вскоре со всем поселком он узнал, что Анна уехала в город с высоким, красивым мужчиной. Однако новость эта лишь в малой степени пошатнула веру Бедолагина в ее возвращение. Пропалывая запущенный огород и удобряя грядки сухим навозом, он бормотал себе под нос — что такое город, и какая сволочь его построила. Но через полтора года, в течение которого он сохранял надежду, настал день, когда, стоя в саду с топором в руках и глядя на свой дом, согретый теплом пепельной веры, он испытал желание изуродовать, изничтожить, сокрушить, и в тот день, выронив из рук гвозди, он сказал — я просто дурак, а она поганая б...

Стремясь к неподвижности и безмолвию, он начертил неукоснительно прямую линию к кресту, исключавшую всякие заходы в светлые гавани, и, как следствие этого, вновь возникла стена между ним и миром.

Обманчивая иллюзия непричастности ко времени завладела его воображением, и та же сила, которая вела каждую клетку организма одиоручкого мужчины к уничтожению и смерти, бродила в его крови, двигала руками, ногами и шеей, сушила глотку и питала зрение беспросветной ясностью. Если он панивался дома, его никто не видел, но, если он панивался в саду, многие видели его и видели неукоснительно прямую линию его пути, которая только со стороны казалась кривой и запутанной, и видели, как он валялся в лужах под откосом или пахал головой грязь в сточных канавах, откуда торчала его напряженная задница. Бременная кошка, перескочив противотанковые рвы, преодолев баррикады, разгадав назначение маскировочных сеток, явилась ему во сне, вцепившись иглами зубов в моншонку, и весь путь, который был проделан к пустырю пробуждения, он околачивал ею столбы; следующей ночью змея укусила его в ладонь, которую он поднял над толпой людей, повелевая встать на колени, и ладонь пала на толпу, раздавив ее тяжестью внезапной онухоли.

Бабка, проживавшая на отшибе, собрав в горстку отказывающиеся повиноваться пальцы, написала письмо подделанной женщине, в котором настаивала на ее приезде, однако подделанная женщина не смогла приехать по причине какой-то болезни.

Приехал полковник. Но это был уже не тот полковник, который когда-то восвал, и не тот, что приезжал в поселок, чтобы увезти подделанную женщину и водрузить ей на голову свадебный венок, пригнувший ее к земле. Окончательно отяжелевший, точно наполовину связанный, с трудом танцвавший тело, как лошадь, тащившая повозку с тем, другим, укрытым; лицо, тем-

нос, как тайна, изредка раскалывала надвое резкая улыбка, что случалось каждый раз, когда он неожиданно вспоминал об этикете. Полковник достал из чемодана бутылку водки и несколько банок консервов; полковник откупорил водку и консервы; они выпили водку, полковник дал своему шоферу денег, и шофер привез еще три бутылки; они сидели за столом, а шофер спал в машине; полковник курил, стряхивая пепел в позеленевшую гильзу от патрона крупнокалиберного пулемета. Полковник сказал, что подселенватая женщина придет, как только поднимется на ноги, и сказал — оца очень скучает; Бедолагин сказал — передайте ей, что я тоже очень скучаю. Бедолагин смотрел на полковника и чувствовал, как свет и рисунок мира рассыпается на атомы, и звуки рассыпаются в воздухе, и голос полковника был точно шорох песка. А потом полковник встал, надел шинель, а Бедолагин сидел за столом, и полковник сказал, чтобы он его не провожал и чтобы ложился спать, и грузно, прилагая, казалось, неимоверные усилия, двинулся из дома, не задерживаясь ни в дверях, ни на крыльце, откуда надал семь лет назад, изрыгая глоткой хрип и кровь.

Учитывая то, что говорил полковник темных войск о прожиточном минимуме, а также то, что незаконне и одиночество стоит денег, Бедолагин после некоторых раздумий устроился на работу в родильное отделение красной кирпичной больницы неподалеку от леса, где два месяца и четыре дня, стиснув зубы и заленив оконной замазкой поздри, молча таскал через затененный двор скринящую, гнилую тележку с простынями и паволочками из-под рожениц, поощряемых послевоенным правительством. В пращной, расположенной в подвале невысокого серого строения в пятидесяти мет-

рах от морга, он выкладывал на пол тюк грязного белья, развязывал пододеяльник, поднимал каждую простыню двумя пальцами, вслух считал и бросал к ногам сухощавого, гнупого в позвоночнике мужчины, который настолько равнодушно относился к разъедающей сознание вони, точно изо дня в день лазал жить туда, откуда появился на свет. Вечером сестра-хозяйка наливала Бедолагину полстакана спирта, а он говорил ей — жить надо не так и не там. В конце июля, считая простыни перед равнодушным гнупым мужчиной, он сказал — это моя последняя тележка; гнупый мужчина ухмыльнулся, запихнул простыни и наволочки в пододеяльник, взвалил на плечо и потащил к прачке. Бедолагин вышел на улицу и долго шел по поселку, стиснув зубы, с замазкой в ноздрях, потом вытащил замазку, перелез забор чужого сада и молча упал в кюмбю роз.

Его пребывание в качестве проводника железнодорожного товарного состава продлилось еще меньше, чем пребывание в качестве разнорабочего при родильном отделении красной кирпичной больницы, и исчислялось теми семнадцатью сутками, которые потребовались на езду до Ростова и обратно, потому что в первую же ночь его панарник предложил ему стать женщиной, только задом наперед, и семнадцать суток он не расставался с разводным ключом, задумав убийство, не желая быть ни мужчиной, ни женщиной, костеня в безмолвной ярости, точно ракушка, все еще преследуемый неумолимым запахом зарождающей жизни.

И он вернулся в холодный дом, твердо решив избавиться от свидетелей своей жизни, запершись в четырех стенах, к двадцати годам потерпевший и осознавший поражение, картины которого, по словам бабки,

проживавшей на отшибе, являлись ей по утрам, заштрихованные оранжевой паутиной спазмов, но сливались воедино и таяли благодаря молитвам, причитаниям и ворожбе, и он увидел, что сарай для дров почти пуст, а те щепки, насквозь пропитаны влагой осенних дождей, издолбивших старый, тонкий толь крыши, смывших с навеса водостойкую смолу, и, стоя в саду под черной яблоней, чьи корни оплели могилу его надежд, он почувствовал, что и через сто лет снова и снова будет приходиться в поселок двенадцатилетним мальчишкой, бесконечный в своем повторении, стремящийся истереться в порошок в своем движении по желобу внутреннего пояса, холодной осенью со стороны поля, так что река всегда будет по левую сторону, а лес по правую, и босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, будут чувствовать неизменный холод земли.

И он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — как и кем жить? Но каждую осень мозг бабки превращался в сухой лед, сердце билось раз в день, язык не ворочался, забытый мертвыми, и ручьи света из окна вливались в душу через сетки глаз, и все, кроме света, было для этих глаз сором. Маркиза, эмигрировавшая из Франции в начале века, так же, как и бабка, проживавшая на отшибе, не давала советы осенью, но подсказала ему устроиться истопником при школе — потому что — сказала она — скоро зима — и сказала — время жечь деревья; то же самое сказал ему отец Анны, которому он помог спилить разросшуюся вербу в палисаднике, и он сказал — хорошо — а потом спросил — пишет ли домой Анна?; отец Анны косо посмотрел на него и сказал, что пишет, и спросил — а что?; он сказал — ничего — и спросил — приедет она в поселок?; отец Ан-

ны сказал — нет; он спросил — почему?; отец Анны сказал — потому что я се убью.

В конце сентября он пришел к директору школы и сказал, что готов работать истопником в котельной; директор школы спросил, согласен ли он работать ночью; он сказал, что согласен. Посланный директором в северное крыло здания, он спустился по ступенькам в подвал и, оказавшись в тесном, удушливом помещении, увидел длинную, проконченную лавку, покосившийся черный стол, открытую чугунную топку и заслонку, державшуюся на одной петле, большой котел и ржавые трубы, по которым циркулировал горячий пар; один угол котельной был отгорожен тремя широкими досками, державшимися за счет вбитых в землю кольев, а за ними на куче угля валялись совковые лопаты и черные измятые ведра, а в стене на уровне головы был вбит железнодорожный костыль, на котором висела керосиновая лампа, опутанная медной проволокой, позеленевшей от сырости, и на короткий миг, глядя в огонь, он почувствовал, что достиг конечной цели своего пути. На лавке сидел рыжеволосый чумазый мужчина. Его могучие плечи занимали все пространство от чугунной топки до противоположной стены и выглядели гораздо шире длины стола, и казалось, что здание, слившись с окаменевшей темнотой за его спиной, лежит у него на плечах, и, если ему вздумается подняться, вместе с ним поднимется вся школа, сорванная с фундамента; когда в котельную вошел Бедолагин, лицо с крупным носом, сжатыми тисками губ и массивным подбородком, выпирающим, точно у жуящего быка, не нарушило ни одно движение, словно кора угольной пыли и копоти намертво сковала мышечные нервы лба, щек и губ. Глаза на до-

лю секунды уперлись в Бедолагина, а потом взор потек вдаль, как если бы в реку бросили булыжник, надеясь преградить ей путь в океан. Бедолагин долго стоял перед ним не в состоянии определить, то ли он смертельно пьян, то ли поражен крайней летаргией, и уже намеревался уйти, как вдруг подбородок рыжеволосого мужчины дрогнул, точно отслоился пласт породы, под воздействием внутреннего толчка с лица исчезла неподвижность, и казалось, оно неминуемо рассыплется черными камнями, как стена дома от удара изнутри, и сквозь отчетливый гул крови в ушах Бедолагин услышал голос, исполненный ненавистью к самому себе — видал ты когда-нибудь шесть пальцев на одной ноге?

И впоследствии, когда осенними вечерами они сидели на длинной прокопченной лавке, цветные в бликах огня перед открытой чугунной топкой, он так и не сказал Бедолагину, что испытывает боль или страдает от неполноценности, что было бы вполне естественно, будь у него четыре пальца вместо положенных богом пяти; обладая звериной непримиримостью и чудовищной силой, часто служившей доказательством его правоты, он наотрез отказывался принимать себя за уродливое порождение мира, в глубине души сознавая, что это унижает человека, а вовсе не оправдывает его, как полагал Бедолагин. Год назад, в то время как шестой палец лишь намечался бледным бугорком сбоку от большого пальца левой ноги, а доктор из красной кирпичной больницы сказал, что это мозоль, и прописал обувь посвободней, бабка, проживавшая на отшибе, посоветовала вспомнить ему все свои грехи и покаяться — а если это не поможет — сказала она язвительно — возблаговари господа бога за то, что рог вырос у тебя на ноге, а не на лбу — намекнув таким образом, что ему

изменяли женщины, чем привела его в страшную ярость, под воздействием которой он снял перед ней штаны и попросил объяснить, что еще нужно треклятым бабам, после чего бабка смогла закрыть рот лишь три часа спустя, предварительно уколов себя иголкой в ухо, чтобы унять судорогу в скулах. Однако слова бабки, несмотря на очевидную их нелепость, прочно засели у него в голове, и с тем же угрюмым остервенением, с каким он искал способы избавиться от шестого пальца, он принялся искать причину его появления.

Движимый сочувствием и страхом, Бедолагин ходил в больницу, где просил, чтобы Клишину отрезали палец, который являлся лишним по законам божественным и социалистическим, пока тот не свихнулся и не начал убивать докторов, но ему сказали, что, раз на одной ноге вырос шестой палец, того требовал организм и что ни один доктор не ампутирует здоровый палец, будь он хоть девятым. Для Клишина все это оказалось последней каплей, испив которую он окончательно замкнулся в себе, вынашивая в голове бомбу, и его лицо под корой угольной пыли и копоти стало похоже на лицо полковника тепевых войск, как похожи лица людей, обремененных тайной. В один из пасмурных холодных дней октября Бедолагин пришел в котельную раньше и столкнулся с Клишиным на ступеньках в подвал. Они вышли на улицу, и по его глазам, застланным дымом, Бедолагин понял, что бомба взорвалась. Сжимая в кулаке отточенную стамеску и кувалду, Клишин размеренно зашагал по направлению к больнице, кратчайшим путем, по компасу мести, стрелка которого маячила у него перед глазами долгий бессонный год. И за весь путь от школы до больницы он не проронил ни слова, молча зашел в больницу, прошел

по коридору между скамеек перед кабинетом хирурга и так же молча зашел в кабинет, оставив дверь открытой. Не глядя на хирурга, молодую сестру и вечно смеющегося старика, наступившего на гвоздь, он придвинул к себе деревянный табурет, снял с левой ноги ботинок, размотал обмотки, поставил ногу на табурет, быстрым, размеренным движением приставил отточенный конец стамески к основанию шестого пальца и, прежде чем раздался истошный крик хирурга, прежде чем молодую сестру сорвало с места и вынесло в коридор, коротко размахнулся и с силой ударил кувалдой по черенку стамески. Тогда он медленно опустился на табурет, выронив из рук инструменты, победивший себя, потому что воевал с собой, как с врагом, превратив свою послевоенную жизнь в неумолимое, целеустремленное саморазрушение, вызванное отсутствием врага, все еще не понимая причин появления шестого пальца, но уже смутно чувствуя, что наточил стамеску для того, чтобы отрубить смысл своей жизни последнего года.

Отрубленный шестой палец явился в поселке самым наглым и безбожным событием года и, несмотря на то, что бабка, проживавшая на отшибе, крайне отрицательно отнеслась к поступку Клишина, чем основательно подорвала свой авторитет, который считала непререкаемым, несмотря на то, что многие женщины запретили своим детям подходить к Клишину, дабы он не посоветовал им вырезать желудок, когда нечего будет есть, большинство людей усмотрели в его поступке торжество человеческого духа над физической болью, а слова бабки о том, что подобный взгляд на вещи неминуемо приведет к восхищению членовредителем и самоубийцей, были утоплены в глубоком море

недоверия, на дне которого покоились проекты полетов на Луну, физико-математические формулы расщепления атома, а также материалы, касающиеся генетической наследственности; кроме того, прошел слух, что в далеком городе, где полковник водил в атаку теньевые войска против носителей идеи Кесаря, отец внematочной экономики, олицетворявший собой умытую и почистившую зубы Россию, с трибуны вещал, что именно при помощи стамески и кувалды следует расправляться с неугодными пальцами на плоскостопных ногах государственных долгов.

Между тем художник Пал, пустивший этот слух, стоял на базаре в потрепанной широкополой коричневой шляпе, из-под которой торчали редкие, давно не стриженные русые волосы, среди пронзительного ветра людских голосов, заметавшего поднятой пылью безмолвие аккуратно разложенных кукурузных початков, носков, ниток и патефонных игл, выставив на фанере маленькие яркие патюрморты с нежными весенними цветами, красочные рисунки коленопреклоненных кавалеров и стройных дам в белых бальных платьях, и укоризненный взгляд его влажных, бархатных глаз скользил по толпе, а бледное худое лицо, оставшееся лицом обиженного пятнадцатилетнего мальчика, готового в любую секунду расплакаться, даже тогда, когда ему стукнуло тридцать, было запрокинуто в немом укоре полутораметровому росту, так что гладкий, острый, безволосый подбородок торчал, точно карниз над тонкой белой шеей, исчезавшей за поднятым воротником длинного, изъеденного молью пальто, полы которого почти тащились по земле, когда он шел, придавая неприкаянный, беспризорный, слезно-обиженный вид его тоненькой, угловатой фигуре. Он не слышал

людей, которые здоровались с ним, не имея намерения купить его рисунки, слышал, но не понимал и не мог бы повторить призывных и возмущенных криков, присутствовавших в его сознании тем вечным, протяжным гулом, с каким в мире, лишенном абсолютной тишины, ветер метет сор и грехи, не замечал, как поднятая пыль оседает на голубые цветы его натюрмортов, погруженный в глубокие раздумья, осторожно ступая в зыбких песках коммерческих расчетов, выискивая путь к обогащению, единый с путем растраты, немо обратив взгляд поверх прыгающих, плывущих, кивающих голов. Но в какое-то мгновение все это кончилось, и никто не увидел, как его бледное худое лицо исказила гримаса ярости, а в следующую секунду фанера, на которой были выставлены рисунки, с треском опрокинулась от удара ноги, стремительно вылетевшей из-под взметнувшегося пальто. Торговец слева неловко, грузно отшатнулся в сторону, ожидая увидеть блеск ножа, который неизменно появлялся в руке художника Пала в минуты неукротимого бешенства, а крупная, большегрудая женщина тяжело присела, расставив огромные колени, чтобы подобрать рисунок, упавший у ее ног, но художник Пал сдавленным, шипящим голосом сказал — не трожь — и сказал — не трожь, говорю, сука драная, — а потом сказал — еще успеешь, как уйду, а щас не трожь. Потом его губы обиженно изогнулись, лицо запрокинулось, и они смотрели, как он повернулся к ним спиной и молча побрел в поселок, путаясь худыми ногами в пыльных, потрепанных полах длинного пальто, все так же запрокинув голову, точно нес на лбу чашу со своим сердцем.

Художник Пал никому ничего не сказал в тот день, когда, спустившись в школьную котельную, чтобы не

брести бесконечно, увидел в Бедолагине источник обогащения, и в голове у него зародились некие мысли, и никому ничего не говорил очень долго, даже когда эти мысли обрели достаточно твердую основу вследствие расчетов и проверок, которые он произвел, отчасти чтобы увериться в своих художественных способностях, отчасти чтобы его труды не пропали даром. Он пошел в соседний поселок, где находилась действующая церковь, пострадавшая во время войны и мало-помалу восстановленная людьми, оглохшими от ночного рева совести, отчаянно нуждавшимися в прощении и в обретении родства. Но если люди смогли забить пробоины от снарядов камнями и кирпичом, укрепить оползни, засыпать близкие воронки, замазать глиной северную стену, искрошенную пулями, а также привести в порядок небольшой зал и прихожую, где торговали маленькими крестами и нашейными иконами величиной со спичечный коробок, то они не могли написать полотна с ликами святых, увезенных, сожженных и просто простреленных солдатами обеих армий. Таким образом, все, что делает церковь церковью внутри, отсутствовало почти начисто, а если не отсутствовало, то было заменено грубыми поделками, которые среди нескольких уцелевших икон с ликами, простреленными пулями, внушали тревогу и опасения тем, кто шел в надежде примириться с совестью и обрести бога. И они останавливались посреди холодной, аккуратно прибранной церковной залы, мельчайшие частицы пыли которой хранили призрачную картину смертельного боя многолетней давности, слышали стрельбу и крики, все еще звучавшие в звоне колоколов сверху, видели не тронутые сквозняком сгустки времени по темным углам, хранившие сам миг убий-

ства, чувствовали сухой запах пороха и мышиного помета в неподвижном воздухе, при том, что всем им было известно, что каждый запах в церкви имеет свой тайный смысл, определяющий смысл самого бытия,— и молились, обращая свои молитвы к тому, у кого был продырявлен высокий белый лоб, или тому, кто смотрел на них одним глазом и дырой на месте второго. И тогда художник Пал, не умевший и не желавший уметь изображать на бумаге человеческие лица, которые стоили, по его мнению, гораздо дешевле затраченных трудов, но увидевший в лице Бедолагина некую мертвенную церковную покорность, всепрощающее смирение и знамение неизбежного краха в глазах, доставшееся тому в наследство вместе с домом, сараем для дров и погребом у черной яблони, вместе с женщиной, пришедшей один раз, и снами, в которых беременная кошка висит на нем, вцепившись иглами зубов в мошонку, наконец, вместе с самим лицом, притягивающим, точно магнит, ложь и грехи мира, предложил свои услуги церкви. Прежде чем установить цену, он договорился с церковниками насчет холстов и красок, а также попросил временно забрать уцелевшие рамы икон, покрытые потрескавшимся лаком, с тем чтобы самому вставлять в них готовые холсты, потому что понимал — как бы хорошо ни разрисовать холст, он всегда будет выглядеть лучше в старинной раме, чем свернутым, а затем развернутым для обозрения. Получив согласие, он установил цену, которая была ни малой и ни большой, а скорее пробной. Потом он притащил холсты, рамы и краски к себе домой и, сидя в комнате спиной к окну и свету, марал бумагу в течение трех дней, перво-наперво изображая на очередном листе желтый нимб, который, по его мнению,

должен был заранее придать загадочную, покорную мудрость лицу, испокон веков существовавшему под нимбом, а также заранее пресечь черты порока и суеты в его живописи. И когда на исходе третьего дня, разглядывая последнее свое творение, остался доволен, он сделал то, что не должен был делать и никогда не сделал бы, будь он историком или политиком, а именно — замазал, убрал нимб и, первый раз взглянув на изображенное лицо, лишенное золотого нимба, почувствовал, как мозг наливается густым соком ярости, а руки точно распадаются от бессилия в тщетном нашаривании ножа. Но потом, когда приступ бешенства прошел, он понял, что это неважно, и на четвертый день, явившись в школьную котельную, выложил Клишину и Бедолагину все, что было у него на уме, пообещав им половину от всей выручки на двоих. А потом, сидя в комнате спиной к окну и свету, поставив перед собой мольберт, сколоченный из кривых рек, он сказал Бедолагину — думай о том, что у тебя было, а сейчас нет — и Бедолагин думал о той могиле надежд, которую оплели корни черной яблони и над которой он стоял в преддверии осени, уже после того, как ему предложили стать женщиной задом наперед, подвинув на убийство, которое так и не было совершено, но до того, как он избавился от запаха зарождавшейся жизни, вытеснив его запахом гари.

Потом стемнело, художник Пал закончил работу, и Бедолагин пошел домой. И как только среди домов поселка показался его дом, он увидел сквозь стены тень и подумал, что в доме кто-то есть. Почти уверенный в своей способности видеть сквозь стены, он вошел во двор, поднялся по ступенькам крыльца, открыл дверь, прошел сени, пахнувшие кирзовыми сапогами,

потом и плесенью, и в комнате у окна увидел Анну. Он молча стоял в дверном проеме, непобедимо мертвый, и его тяжелые, безвольные руки болтались где-то внизу, утратившие силу, кровь и крепость костей, точно мокрые канаты, и она казалась ему более нереальной, чем та, что шла ночами по высохшей полыни в желаниях и снах, но теперь она была ему не нужна. И как только он понял, что она действительно вернулась и что ее тень он видел сквозь стены дома, точно сквозь тонкие занавески на свету, и что именно она стоит сейчас у окна, все такая же, только похудевшая, осунувшаяся, болезненно красивая, но, как всегда, готовая завоевывать крепости, крушить бастионы силой своей слабости, разбивать ворота, взламывать замки, выжигать мозги своей хрупкой худобой, готовая взорвать мир, чтобы воссоздать все с самого начала и вновь начать жить, но мудро и безошибочно, он сказал — проваливай — и сказал еще раз — проваливай — твердо зная, что будет помнить об ее приезде лишь до тех пор, пока не заснет, а на завтра забудет, так что ему заново придется увидеть ее утром и сказать то, что он сказал сегодня. Но, проспавшись, он отчетливо помнил, что Анна была в доме, помнил в первую секунду пробуждения, еще не заметив, что она стянула с него грязные сапоги и рабочую куртку, провонявшую гарью. Она сидела за столом и смотрела на него, а потом, когда он встал, надел вычищенные сапоги и куртку, она без всякого выражения сказала — к тебе приходили твои друзья — и сказала — того художника я знаю — он сумасшедший — потом, медленно, не обращая внимания на его угрюмое молчание, проговорила — я сказала им, что здесь нечего делать всяким подонкам. Он посмотрел на нее хмурым, отсутствующим

взглядом, догадываясь, что она сказала это неспроста, видимо, рассчитывая на вспышку злобы, приготовившись выдержать проклятье и побои, и вдруг, глядя на ее белое, напряженное лицо, застывшее в больших, широко раскрытых глазах желание быть наказанной, но не за последние свои слова, а за то, что ушла от него когда-то с другим мужчиной, он подумал, что не нужно ему поднимать на нее руку, потому что рука ее отца давно вознесена и ждет лишь появления, чтобы вышибить из нее дух.

Но отец Анны даже не поднялся с полена, когда Бедолагин сказал ему о ее возвращении, сидел, сгорбившись, свирепо лузгая большие семечки, подобрав под себя кривые, короткие ноги, предназначенные не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы сжимать бок лошади, а потом холодно сказал — ну и что? — и сказал — ну вернулась — а потом невозмутимо сказал — ну дай ей в морду, скажи, отец велел. Бедолагин повернулся, чтобы уйти, но отец Анны сказал — стой — и сказал — погоди — а потом сказал — пойдем в дом выпьем водки. Они выпили водки и выпили подкрашенный линияющей травой самогон, и тогда отец Анны сказал — сделай ей ребенка — и сказал — сделай, говорю; Бедолагин сказал — ладно; отец Анны нахмурил густые, выгоревшие брови и сказал — сделай; Бедолагин сказал — да — и сказал — сделаю — и сказал — обязательно — а потом сказал — одного, двух, трех, четырех ребенков; отец Анны спросил — ты что мелешь?; Бедолагин сказал — двадцать, тридцать, сорок ребенков, сто ребенков, пока она не заорет, что хватит; отец Анны усмехнулся и сказал — не заорет; Бедолагин сказал — заорет; отец Анны сказал — нет — и спросил — знаешь почему? Бедолагин сказал — почему?; отец Анны сказал —

не будет у нее детей — и сказал — совсем; Бедолагин спросил — почему?; отец Анны сказал — спроси у нее — и сказал — она тебе скажет; Бедолагин сказал — ладно — и сказал — хорошо — а потом сказал — знаешь, зачем я к тебе пришел?; отец Анны сказал — знаю; Бедолагин сказал — нет, не знаешь; отец Анны спросил — зачем?; Бедолагин встал и сказал — чтобы ты пошел и убил ее. Потом он ушел.

И Анна взялась за него, отбросив женские ужимки, подходы исподволь, зондирования почвы, взялась не постепенно, не незаметно, а сразу, точно иначе и быть не могло, точно уезжала в город по обоюдному соглашению, с тем чтобы вернуться в назначенное время, и это время пришло — не стараясь сказать лишнее, не стараясь умолчать, когда это было необходимо, — появилась в доме наперсницей судьбы; ввела нечто вроде ритуальных разговоров за завтраком, обедом и ужином, если Бедолагин был дома, словно все было давно решено и обговорено еще тогда, когда они были детьми, и говорить больше не о чем. Она написала письмо подслеповатой женщине, поинтересовавшись ее здоровьем, и послала ей поздравительную открытку к Ноябрьским праздникам, подписав именем Бедолагина и своим; она не пускала на порог Клишина и художника Пала, определив источник зла, и говорила, чтобы они катились к чертовой матери; она устроилась на работу в местное отделение связи и разносила письма и газеты, а когда ее отец сказал, что она нанялась почтальоном только затем, чтобы перехватывать письма, адресованные ей городским кобелем, она сказала, чтобы он не лез не в свое дело. Она запаслась несокрушимым терпением и упрямством, перед которым упрямство Клишина выглядело как упрямство капризного ребен-

ка, не желавшего мочиться на горшке; приняв панцирь смерти за панцирь льда, вооружилась подобием бура, вознамерившись просверлить дорогу к сердцу любой ценой, даже если придется сломать ребра. И была обманута — обманута тем молчаливым, спокойным согласием, с каким он делил с ней постель, той молчаливой невозмутимостью, с какой он воспринимал все, что бы она ни сказала, тем голосом, каким он здоровался с ней и прощался, потому что прошло слишком мало времени, чтобы она могла понять, а затем поверить бесповоротно, что нет и не было средства прошибить глухую тишину его сердца. А пока она жила, отказываясь верить, что времена переменялись, не стараясь оправдать, обелить себя, похоронив свое прошлое так глубоко, как не хоронили ни одного мертвеца, но и не делая вид, что родилась неделю назад, потому что должна была пускать в ход опыт, накопленный в жизни; не скрывала от людей своих намерений и дерзко, с угрозой говорила — да — говорила она — мне нужен муж — и говорила — попробуйте отберите его у меня — и глаза ее на тонком, красивом лице блстели так, точно она уже шла против всего мира, сжав худыми, почти прозрачными руками испачканные павозом вилы.

Художник Пал написал три холста за очень короткий срок; он давал Бедолагину осколок зеркала, и Бедолагин смотрел в осколок, а потом смотрел на холст и видел удивительное, а порой удручающее сходство; запоминал свое лицо, которое видел в зеркале лишь единственный раз, сразу после войны, когда ему едва минуло четырнадцать лет, и давно забыл. Художник Пал, однако, понимал, что холсты написаны плохо, но говорил, что они написаны лучше тех, что висят в церкви. Он отнес холсты в церковь один за другим, с

интервалом в пять дней, а когда церковники, крайне удивленные, спросили, сколько времени он тратит на один холст, он ответил, что над эскизами работал в течение года, а холсты пишет при помощи логарифмической линейки, чем основательно сбил их с толку. Потом он начал писать четвертый и последний из заказанных холстов, но так и не закончил, а причиной тому был Бедолагин, чья неспособность совладать с темной силой наследственно отравленной крови, полностью подчинившей его мозг, делала его невменяемым в часы пьяного одурения, толкала на поступки, пагубные последствия которых он мог бы предугадать ребенком, но не сейчас, когда ему было запрещено предугадывать, а было велено действовать. И через два дня, после того как художник Пал продал церкви третий холст, вставленный в старинную раму, и работал над четвертым, Бедолагин, пьяный как свинья, вышел из котельной и пошел в церковь соседнего поселка по широкой, размытой дождями дороге; падал и вставал, не чувствуя ног, но чувствуя медленные плавные падения и мягкую, скользкую землю, а тело, утратившее способность к боли, переворачивалось, поднималось и выпрямлялось вновь, подчиняясь той же силе, которая вела каждую клетку организма одного мужчины к уничтожению и смерти. И он зашел в церковь среди бела дня, мертвецки пьяный, в грязной, мокрой куртке и в хлюпающих сапогах, покрытых жидкой грязью. Тяжело волоча ноги, он прошел в церковную залу и остановился там, придерживаясь рукой за стену, и смотрел на холсты художника Пала в старых рамах мутными, мертвыми, немигающими глазами, узнавая себя, и лишь через пять минут, ни разу не моргнув, он посмотрел вокруг себя, потому что услы-

шал, казалось, далекий, мерно нарастающий шум, и шум стих, и увидел людей, скованных оцепенением. Он молча смотрел на них, и губы их беззвучно шевелились, произнося слова, но можно было кричать, биться в истерике, буйствовать — все это без следа, не дав сложиться в живой звук, поглотило бы безмолвие, всего этого никто бы не заметил, потому что нечто, замеченное прежде, погрузило людей в спасительное забытие, единственно способное сохранить им разум. И тогда Бедолагин медленно поднял руку с вытянутым указательным пальцем, и рука замерла в воздухе, когда палец был направлен на одну из икон, а потом рука двинулась в сторону, указывая на две следующие, и он спокойно, негромко, но отчетливо сказал — снимите это — все так же придерживаясь стенки, сказал — снимите, — а потом, тяжело передвигая ноги, вышел из церкви, а рука все еще висела в церкви и висела до тех пор, пока иконы, на которые она указывала, не были сняты.

По той же размытой дороге, падая и поднимаясь, он добрался домой и, не глядя на Анну, повалился на кровать в мокрой грязной куртке и в сапогах и проспал остаток дня и всю ночь, а проснулся уже без куртки и без сапог. Надел еще сырые вычищенные сапоги и вышел на порог.

Анна стояла посреди двора, поставив на землю облезлую немецкую канистру, наполненную керосином, с палкой в худой, почти прозрачной руке, и ее глаза на бледном тонком лице блестели отчаянием и злостью, и с порога дома Бедолагин услышал, как она кричит — катитесь отсюда к чертовой матери, сволочи проклятые, катитесь отсюда — и он увидел, что они стоят у калитки забора уже во дворе, и увидел, как художник Пал

знакомым всему поселку движением, которое невозможно уловить, как невозможно уловить разлет концов туго натянутого и вдруг разрубленного каната, выхватил нож из кармана длинного, узкого пальто, когда Анна подняла палку над головой и пошла на них, решив, видно, умереть или отдохнуть от всего этого, лежа в больнице с распоротым животом, который она не берегла с тех пор, как узнала, что не сможет иметь детей. И тогда художник Пал встал перед необходимостью убить человека; растерянность, вызванную неверием в то, что кто-либо рискнет пойти на него при ноже, ему, однако, удалось быстро преодолеть, потому что он понял, что именно так, а не иначе совершалось убийство со времен зарождения жизни, и понял, что если уж он взял в привычку при каждом неверном слове со стороны выхватывать нож в тщетном стремлении быть выше ростом, то рано или поздно его придется пустить в ход. Анна все видела, и все поняла по его глазам, и, приостановившись на секунду, вновь пошла на него; и хотела что-то сказать, но не смогла, испытывая отчаяние и любопытство, как перед первой физической близостью с мужчиной, очень давно, в тот единственный раз, когда это действительно что-то значило. И тогда Бедолагин бросился к ним с крыльца, разинув рот в беззвучном крике, и, споткнувшись, растянулся посреди двора. Тогда Клишин шагнул навстречу Анне, и она с размаху ударила его, но он подставил руку и, вырвав у нее палку, отбросил в сторону. Потом он медленно повернулся к художнику Палу, который молча ждал Анну, то и дело перехватывая тонкими пальцами рукоятку ножа, сощурил один глаз и глухо, спокойно сказал — ты и вправду решил ее прикончить — и помолчав, вкрадчиво спросил — да?; ти-

хим, шипящим голосом Пал сказал — да, решил — и сказал — ни одной стерве не позволю на меня орать — а потом сказал — не суйся. Он упрямо посмотрел в лицо Клишина и вдруг увидел то, что всегда было скрыто под корой угольной пыли и копоти, увидел не лицо, а застывшую на полпути лавину черных камней, остановленную и замороженную силой воли, увидел человека, которому не может что-то нравиться или не нравиться, раздражать или оставлять равнодушным, огорчать или веселить, увидел человека, способного лишь любить или ненавидеть без исключения, душу, сотканную из двух, а не из сотни чувств, жизнь, состоящую единственно из молчаливой любви и молчаливой ненависти,— цельную, без какой-либо цели, бесповоротную даже в поворотах, созданную в крайности и питаемую крайностью. И в оцепенении он позволил жестким пальцам Клишина вырвать у него нож и метался в душе не в силах пошевелиться, и наконец, когда подвижность вернулась к нему, он хотел ударить Клишина, но даже не достал до его лица, а потом он с яростью бросился на него, но это было все равно, что таранить соломинкой чугунные ворота, и, когда кулак Клишина с хрустом столкнулся с его головой, как если бы пролетающий самолет задел его крылом, Пал, предугадав этот миг, успел подумать, что лучше уж так, чем снова и снова бросаться на него без всякой надежды. И тогда Клишин, не проронив ни слова, ни на кого не глядя, нагнулся, поднял, взвалил на плечо художника Пала и молча, ни на кого не глядя, пронес его через весь поселок, даже не хромя, шагая так же легко и сосредоточенно, как в тот раз, когда шел в больницу, чтобы отрубить шестой палец, и, бросил его лишь в доме, в углу комнаты, где стоял мольберт, ско-

лоченный из кривых реек, с недоконченным лицом Бедолагина на холсте, которое уже не нужно было заканчивать, потому что невозможно было продать.

В конце ноября у Анны не пришли месячные. В течение двух недель она ходила по дому и делала все, что делала всегда, словно ничего не произошло. Она говорила себе — я не изменилась — говорила себе — ничего не изменилось. Она говорила себе — почему они сказали, что это невозможно — говорила — почему он, не способный ни на что, сделал то, что никто не мог сделать. А потом говорила — мало ли почему они могли пропасть — выискивая причины тайного предупреждения, суеверно отгоняя надежду, точно одно ее появление сулило безнадежность и неверие до земли. И две недели прошли словно глубоко под водой, притупив прежнюю быстроту ее движений, но наделив слухом летучей мыши не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы слышать шорох жизни даже в падении листа.

Она сидела на кровати и, твердо уверенная в обратном, говорила себе — не могло это произойти — глядя, как Бедолагин надевает рабочую куртку, надевает сапоги, а потом спокойно, невозмутимо смотрит на нее, засунув руки в карманы, и говорит — я сегодня не приду — говорит, как говорил всегда, если она была в пределах досягаемости его голоса, а может, и тогда, когда она не могла его слышать, потом поворачивается и выходит; она смотрела ему вслед, уже твердо зная, что именно сегодня увидит его во сне; сидела, не замечая, как длится ночь, сложив худые руки на коленях, погасив свет, думала в сумрачной тишине за два часа до рассвета легла не раздеваясь, и, едва закрыв глаза, уснула.

И сразу, ниоткуда, он пошел в грязной куртке и тяжелых сапогах, бесшумно ступая по земле, неживой, бесплотный, вбирая в себя темную пустоту ночи, точно освеженная шкура убитого зверя, не подчиняясь никому и ничему, истребив в себе все чувства вплоть до животных инстинктов, прошел по палисаднику и упал в кучу листвы, аккуратно собранную детьми перед тем, как поджечь, и ее сон пропитался запахом осени, наполнился громким шорохом сухой листвы, когда он зарывался в нее всем телом, чтобы замереть, лишь пальцы коснутся земли. А они уже бежали, маленькие, темные, худые, справедливые, чтобы поджечь листву, которую собирали в течение всей осени, от начала сентября до начала декабря, и в руках у них вспыхивали огни.

И, проснувшись, Анна вскочила с кровати, и выбежала из дома не обуваясь, и бежала по поселку во тьме нового дня, едва касаясь босыми ногами холодной, подмерзшей земли, а когда наконец показалось здание школы и палисадник справа от него, над черными деревьями она увидела белый лиственный дым, который медленно уходил в небо. Тогда она остановилась и стояла, глядя на белый дым, а потом сказала — господи — и сказала — господи — а потом сказала — храни.

ЗЕМЛЕМЕР

Он рассчитывался с ними в конце дня, тщательно, сосредоточенно подсчитывая количество убитых в доме мух, за каждую из которых платил по копейке — они не стирали их со стен, дверей, окон до тех пор, пока не был произведен подсчет; затем они приносили ему старые ржавые банки из-под консервов, чтобы он произвел не менее тщательный подсчет колорадских жуков, снятых с кустов картофеля и он, вооружившись тонким прутом, склонив худое строгое лицо над банками, сжимал бледные губы, впившись взглядом в шевелящуюся массу насекомых, все также тщательно, сосредоточенно считал, покрываясь холодным потом всякий раз, когда безошибочная интуиция, возвращенная тремя войнами, подсказывала ему, что он посчитал одного жука дважды, ибо, если за каждую убитую муху он платил по копейке, то за одного жука платил две, и уже никак не мог позволить себе ошибиться. Потом они обливали жуков бензином и присев на корточки, поджигали, глядя на дрожащие язычки пламени и на черный дым, а он стоял в стороне, под высокой грушей, на том месте, где обычно закапывал слепой кошачий помет, опираясь на толстую гладкую палку, делая вид, что смотрит в сторону болота, а на самом деле внимательно наблюдая за тем, чтобы жуки

были сожжены все до единого, потому что думал — они ведь могут подsunуть мне под нос завтра тех жуков, что были пойманы сегодня, понятно, не для того, чтобы разжиться деньгами, а чтобы досадить — а потом думал — чтобы отомстить — и думал — чтобы отомстить мне за честность.

Однако его ядовитое и вечное недовольство, его истинное стремление к безграничной тиранической власти в своей суверенной стране семьи, преобладавшее над стремлением к материальному благополучию, преобладавшее над стремлением крови к славе и стремлением сознания к одиночеству, его жесточайшие методы подавления малейшего всплеска неповиновения, практически исключали зарождение лжи в его присутствии. И ни старший, ни младший внук никогда не осмелились бы ему солгать, ибо одна лишь мысль о том, чтобы померяться с ним хитростью, а затем быть уличенным во лжи, что представлялось им неизбежным, наполняла их души густым, изнурительным страхом, сковывала языки негнущейся честностью, так что им казалось, будто во рту у них холодная, кислая алюминиевая проволока, мертво произросшая из разбухших миндалин уважения и ненависти. И даже, если бы он не считал убитых мух и пойманных жуков, они не могли бы его обмануть, как не могли обмануть собственное сознание, ведущее действительный, беспристрастный счет тому, что делают руки, и будь он на другом конце земли, все, что бы ни делали они за копейки, которые он им платил, происходило бы под его вездесущим взглядом, и глаза его, сопровождавшие их всегда и везде, вросшие, казалось, в их собственные глазницы, мерещились им в щелях забора или за крестом оконной рамы, хотя они знали, что в настоящий

момент он едет в хлебную лавку или охотится на диких уток, среди высокой болотной травы; его глаза мерещились им сквозь густую листву сада на высоте трех метров от пизкорослых желтых цветов, когда они укрепляли стог сена длинными, крепкими жердями, чтобы его не разметал ветер — между тем, сам он в это время бродил по лугам в поисках потерянных наручных часов; в другой раз они могли поклясться, что видели кончик его сапога, выглядывавший из-под двери уборной, тогда как были совершенно уверены, что он собирает шишки в сосновом бору, необходимые бабушке.

У него было одиннадцать детей — двое сыновей и девять дочерей поразительной красоты, но поговаривали, что в Харькове у него был внебрачный сын, хотя точно этого никто не знал. Первым двум дочерям — Марии и Ольге — довелось запомнить войну гораздо лучше, нежели остальным его детям, потому что они были взрослее; кроме того, обе они подходили уже по возрасту к тем женщинам, которых немцы угоняли в Германию. Но если первая сумела избежать этого, последовав совету подружек и наевшись перед отправкой очередной партии к эшелону конского дерьма, после чего три дня и три ночи лежала при смерти в прохладной сумрачной тишине родного дома, то вторая была поймана, не успев пуститься в бега и доставлена в немецком грузовике к огромному пыльному эшелону, на котором и прибыла в Германию через шесть суток — одна из многих восемнадцатилетних девушек, перепуганных навечно. Она прожила в Германии семь месяцев и четыре дня, до той ночной бомбежки, когда ей оторвало правую ногу и тем же осколком крепко задело левую, после чего она в срочном порядке была от-

правлена назад в Россию, в связи с тем, что оказалась нетрудоспособной и по выздоровлении не могла уже быть столь же расторопной посудомойкой, как все остальные. А дома, когда футляр боли стал неотъемлемой частью ее мира, сознания и сна, у нее началась гангрена и правую ногу, отпиленную в Германии, укоротили еще на десять сантиметров в Харькове, где она, пахнувшая чужой страной, пролежала четыре месяца в грязном военном госпитале в ожидании смерти, чувствуя, что время сгорает быстро, как бикфордов шнур, переживая вновь и вновь тот пронзительный слепящий миг, заменивший ей навсегда боль деторождения, когда осколок бомбы вспорол непрочную ткань ее судьбы. По возвращении из госпиталя стены дома на долгое время превратились в границы ее существования, пересечь которые она боялась даже в мыслях, отчего сны ее стали тесными и почти реальными, ибо действие в них, за редким исключением, проходило в рамках все тех же границ, и даже наяву она не ставила перед собой целью их преодоление. Между тем у Крайнова рождались дети, а интервал между их рождением не превышал трех лет. Именно эти дети — ее сестра и братья — и дети их детей, лишили впоследствии Ольгу имени, безошибочно распознав по лицу ее и глазам, что они и только они привнесли смысл в ее стиснутую границами жизнь, вернули ей изначальное назначение, возможно даже нечто большее, так что в конце концов она стала Мамой Всех Детей.

Но не все они дожили до середины пятидесятих годов. Шестая дочка умерла, едва успев открыть темно-синие глаза и увидеть нелепый перевернутый мир, в котором скользили бесплодные тени ее родителей, братьев и сестер — именем ее был назван обтесанный

камень, на четверть врытый в землю над могилой. Потом умерли от туберкулеза Клавдия, а вслед за ней Александра, слывшие первыми красавицами в поселке; тогда Мама Всех Детей сказала, что самая красивая дочь их отца была та, чье имя перешло камню, и никто не стал с ней спорить.

Однако Крайнов переживал смерть своих детей гораздо сильнее, чем кто-либо, потому что в горе его, помимо скорби, присутствовала рвущаяся наружу непокорность, питаемая уверенностью, что он имеет больше прав на своих детей, нежели какая-то там смерть, не сделавшая ровным счетом ничего для их появления на свет. И, сидя на стуле под старинными резными часами, составлявшими некогда предмет его гордости, подергиваясь всем телом и подавляя икоту, он с ненавистью сосал старые остекленевшие леденцы, опустив голову, прожигая горящими глазами дощатый пол, погружая яростный сконцентрированный взгляд глубоко в землю, точно длинный раскаленный стержень, служивший одновременно оружием и эхолотом, в тщетных стараниях достигнуть грохочущего пламени недр и вызвать эффузию ада. Ибо в детях своих — и это было для него наиболее важным — он видел лишь увеличение собственной плоти, увеличение мира собственного «я». И каждое движение их должно было осуществляться через единственный и неделимый мозг, хранившийся в склепе его черепа; и в неистовом своем заблуждении, в неистовой вере в неделимость единого организма семьи он взрывался при малейшем проявлении разума, самостоятельности со стороны им сотворенных, потому что многодетность его происходила от желания увеличить себя и властвовать над бóльшим. Именно поэтому смерть троих его детей

привела его в бешеное отчаяние, ибо умерли они, самостоятельно распоряжаясь своим телом, замкнувшись в нем, как в защитной капсуле, и еще до смерти были от него далеки и неподвластны его настойчивым требованиям. Долгие годы они снились ему в образе печальных, неповоротливых рыб за толстыми прозрачными стеклами гигантского аквариума, где они медленно и бесцельно плавали в таинственной темно-зеленой воде, среди искусственно выращенных водорослей и маленьких коричневых улиток, недостижимые для хлещущих по стеклу звуков его голоса и пламени его неистовых приказов вернуться в армию детей. После этих снов он любил говорить, что люди в болезнях своих и смертях похожи на рыб, но этого никто не понимал.

Итак, он потерял троих детей. Но смерть их была для него лишь началом потерь, которые он давно предчувствовал и ждал, вспомнив как-то ночью, что сам был потерей для людей, забытых им; и по мере того как выросли его дети, он понял, что единый организм семьи безнадежно мал и хрупок по сравнению с величиной и мощью внешнего мира, куда они уходили, создавая свои семьи, растворяясь в новопридуманной свободе, не теряя, однако, его из виду, поселяясь в непосредственной близости, чем льстили его самолюбию, ибо он думал, что таким образом они проявляют неуверенность в собственных силах и желание иметь защиту в его лице, если вдруг в таковой явится нужда. При этом они не поддерживали с ним тесных связей, опасаясь, видимо, неизбежного порабощения, но их маленькие дети часто посещали его дом, передавая конфеты и лимонад Маме Всех Детей, целовали бабушку и внимательно, настороженно глядя ему

в глаза, стояли перед ним в ожидании слова порицания или слова одобрения, не ведая, что родители их что-то сломали в его жизни, разрушили некую систему, которую он строил для своей семьи, не имея понятия о дифференциации, не принимая в расчет своим бухгалтерским умом многогранную мудрость природы.

Двух последних своих дочерей, Евгению и Маргариту, он отправил в город, едва младшей исполнилось пятнадцать лет — как раз тогда он окончательно убедился в том, что время симбиотических отношений в семье прошло безвозвратно и его умозрительные конструкции, в которых он неизменно отводил себе роль несущей части, столь же не прочны, сколь не прочна сама человеческая мысль. Дочери уехали в один день, так что на следующий уже находились в городе под относительным присмотром его двоюродной сестры — дородной крашеной блондинки с тяжелым квадратным подбородком и ушами маленькими, как листья клевера, — которая, собственно, и предложила ему отправить девочек в город. Она же помогла Евгении устроиться на работу в столовую на должность помощника повара, а Маргариту определила нянькой в детский сад, где последняя проработала очень недолго и, как только ей исполнилось шестнадцать, уволилась и с помощью все той же двоюродной сестры своего отца устроилась официанткой в захудалый ресторан, а через шесть месяцев вышла замуж за лысеющего двадцатипятилетнего мужчину невысокого роста, бывшего шахтера, а ныне воспитателя женского общежития, где Маргарита проживала в четырехместной комнате, будучи самой младшей. Он приходил к ним в комнату каждый день бедно, неряшливо одетый, с небритым простоватым лицом и глазами, опустошенными частыми длитель-

ными попойками; от него пахло крепким табаком дешевых папирос и тяжелым свежим перегаром; он сел на стул, тут же закурил, прятал спички в карман потрепанной вельветовой куртки, закидывал ногу за ногу, выставя на всеобщее обозрение большой, драный, нечищенный ботинок, способный привести в ужас любую женщину, и, устроившись со всеми удобствами, начал нести невообразимую чушь, в которой хвастовство сменялось полупьяным бредом, а полупьяный бред — хвастовством. Словом, при виде этого человека даже в больном воображении не могла бы зародиться мысль, что он несет в себе немалый интеллектуальный потенциал, сокрытый у него в голове, как в ночи, тем не менее это было именно так, ибо он не только увез младшую дочь Крайнова и родившегося у них сына в Москву, но и, объездив весь мир, добился внушительных успехов в эпистолярном жанре, что позволило им жить относительно безбедно и счастливо.

Оставшись с женой и одноногой Мамой Всех Детей, Крайнов почувствовал себя чиновником, несправедливо пониженным в должности. Не стремившийся никогда к постижению жизненных процессов, чуждый объективности, уязвленный, но отнюдь не проигравший, он занялся восстановлением собственного достоинства. Демонстрируя высокомерие и брезгливость, постоянно обрушивая на них неиссякаемые запасы необузданного гнева, он иногда замолкал, но лишь для того, чтобы в кратковременной тишине злопамятно вычленить кое-какие незначительные действия, взгляды с их стороны, способные его оскорбить или обидеть. Иногда он, маскируясь какой-либо болезнью, лежал на диване, наполняя комнату тяжелыми вздохами и душераздирающими стонами, наполовину прикрыв

холодные злые глаза, зорко, неотрывно следил за женщинами, силясь разглядеть, не выказывают ли они радость, злорадство по поводу его тяжелого телесного состояния и так ли они искренни в своем участии и изъяснениях жалости, как стараются казаться.

Между тем, началось его отдаление от людей — постепенно, почти незаметное, но неизбежное удаление в старость, в мир, где богатые прошлым и нищие будущим уподобляются невостребованным натуралистическим портретам. Однако он в этот мир вступил наполненный взрывоопасными парами гордости, путаясь в противоречивых желаниях и инстинктах, все еще крепкий телом и духом, он с молниеносной реакцией змеелова возвращал в гнездо мозга расползавшиеся мысли, твердо намереваясь сохранить контроль над своей великолепной памятью до конца дней. Превращаясь в интровертивную личность, черпая силы и уверенность внутри себя, он с несвойственной старости аккуратностью принялся следить за своим внешним видом, каждый день подбривая шею и щеки, подравнивая седую красивую бородку и тонкие ухоженные усы. Когда он по утрам садился к столу, чтобы выпить кружку чая и съесть неизменный кусок масла, плававший в алюминиевой миске с водой, его тщательно причесанные седые волосы благоухали одеколоном, а от начищенных до блеска сапог исходил свежий запах гуталина.

Собственно говоря, он никогда не был затворником, но вел сравнительно уединенный образ жизни. Так, если прежде он довольно много и часто общался с людьми, работая заготовителем скота, скупая у населения коров, свиней, овец и, торгуясь, нередко вступал в продолжительные, склочные споры, то став землеме-

ром, он отличался уже немногословием, крайне ортодоксальным подходом к делу и свирепой старческой честностью. Однако все эти похвальные качества бесследно исчезали, стоило ему лишь оказаться в семье, в замкнутом пространстве выдуманного крошечного государства, где все, включая пыль, подчинялось только ему, где лицемерие и жадность завладевали его сознанием с той же быстротой, с какой спирт завладевает маленькой тряпкой, где бунт людей казался бы более абсурдным, нежели бунт предметов. Здесь он правил — своей женой, которой все трудней и трудней становилось двигаться, и одноногой дочерью — с последовательностью и точностью художника-мультипликатора, чей труд считал верхом терпения, с тех пор, как один из внуков, приезжавших на каникулы, объяснил ему, как можно показать бег нарисованных фигур — здесь он правил, опираясь на выдающиеся достижения государственной интриги, неустанно следуя примеру великих подлецов, путем лживых наговоров, сталкивая мать и одноногую дочь лбами, стоило ему лишь заметить проблеск нежности между ними, ибо нежность, по его мнению, могла бы привести к их объединению; успевал вовремя оболгать одного из сыновей, а именно того из них, который, предлагая помощь, мог бы непозволительно возвыситься в глазах матери и тем самым принизить, затмить его самого; отметал напроць любые советы со стороны, глухой к воздействию внешнего мира, полагая, что нет человека, познавшего науку правления лучше, нежели он сам, а новых открытий в этой области уже быть не может, ибо все опыты поставлены; с бдительностью осаждаемого охранял свои владения, в равной мере неприступные как для родных детей — исключения он делал для

внуков, пытаюсь, и небезуспешно, приобрести союзников,— так и для людей посторонних, чьи злые языки способны были породить бесконечные сплетни и повредить его репутации, но себе он давно сказал: пренебрегать репутацией не стоит, ну а если она испорчена, то и хрен с ней. До него доходили слухи, что сыновья, не желавшие все-таки оставлять бабушку и Маму Всех Детей зимой без угля, зная, что сам он этим заниматься не будет,— ведут скандальные споры по поводу того, кому из них этот уголь везти, не собираясь более тянуть карту или подбрасывать монету, как то бывало прежде. Ибо они прекрасно помнили свой последний приход, когда, стоя перед ним, просили, чтобы он позволил сделать во дворе водонапорную колонку, потому что Маме Всех Детей тяжело на одной ноге ходить к колодцу даже с пустым ведром, не говоря уже о том, что возвращалась она с полным. Он незамедлительно отказал им на том основании, что для этого пришлось бы перерыть весь двор, а вдобавок еще и сад. Из всего, что он им с презрением говорил, глядя на них глазами, полными жестокого любопытства, пытаюсь их побольней уколоть, обидеть, они поняли, что в принципе он не против иметь водонапорную колонку, если бы ее просто воткнули посреди двора и она бы заработала; что же касается подземных труб для подачи воды, то об этом не могло быть и речи. Тогда один из сыновей сказал ему: мы можем пустить трубы по земле, тогда он с издевкой ответил: ну да, чтоб я об них спотыкался. Но существовала еще одна причина, которая, как он надеялся, осталась для детей его тайной — себе он вынужден был признаться, что отказ его был связан еще и с тем, что они первые предложили ему сделать то, что он давно должен был

сделать сам. До него доходило также, что в поселке говорят, будто бы он должен деньги своим детям — причем всем без исключения — которые занимал очень давно, в то время, когда отношения между ними не были порваны окончательно. И он говорил бабушке: ты слышала, а? — и говорил: оказывается, я им должен, этим сукиным детям!; бабушка ему говорила: но ведь это правда, отец — и говорила: ведь так оно и есть; а он, жестко усмехаясь в красивые, ровные, седые усы, говорил: болтайте, болтайте — а потом с внезапной яростью говорил: если мне вздумается стребовать долг с них, они должны будут вернуть мне свои сраные жизни! — и говорил: свои шкуры с потрохами! А про себя он думал: твою мать, а? — и думал: как это интересно знать, дерево может задолжать какой-то сраной своей отвалившейся ветке, каким-то поганым своим опавшим листьям!

Процесс накопления материального состояния давно уже потерял для Крайцова всякий интерес. Он не только ничего не покупал в дом, но и не тратился более на одежду, подсчитав, что до смерти одежды и обуви им хватит с избытком. Попытавшейся возразить бабушке он грубо сказал: цыц ты! — и сказал: у нас есть даже телевизор! И всю свою любовь, нежность и ревность он без остатка отдал бумажным рублям, тогда как недвижимость только терпел, презрительно ею пользовался, понимая, что нельзя прожить без кроватей, столов и стульев, но, в отличие от денег, предметы он не пересчитывал и не собирался множить, потому что главное, по его мнению, у него было. У него было гладкоствольное ружье, вид которого приводил его в бешенство раз в год, а именно в тот день, когда требовалось платить за него налог в размере пяти рублей; был детекторный приемник, настроенный

на запретную волну, и вечерами, погружаясь в тихий шипящий звук, он слушал различные песнопения; у него был старый засаленный диван, впитавший некогда кровь родов, где, вытянувшись в полный рост, он обретал покой, потому что под аккуратно надрезанной обивкой хранились трехпроцентные облигации государственных займов, которые никто не мог стащить, пока он на них лежал. Был потрескавшийся сервант, выкрашенный в белый аптечный цвет, в ящиках и ящичках коего он прятал овсяное печенье, много лет назад отобранное у Мамы Всех Детей, похожее на круглые куски пемзы, годное разве что на то, чтобы оттирать с ладоней въевшийся мазут, желтую карамель, также отобранную, превратившуюся за эти годы из кондитерского изделия в изделие керамическое; несколько бутылок прокисшего, забродившего прошлогоднего лимонада — это были его жертвенные сбережения, отобранные у Мамы Всех Детей и ей же предназначенные в том случае, если он и бабушка умрут в один день и нечего будет есть и пить; и он говорил, отбирая у нее подарки, едва тот или иной даритель скрывался за дверью: вот когда ты меня вспомнишь! — и думал: за каким чертом ей сейчас конфеты и печенье, если еще жив и могу ее прокормить? В том же серванте хранились дорогие фигурные рюмки, пустые банки из-под импортного пива, которое время от времени присылал из Москвы муж его предпоследней дочери, чей сын объяснил ему, как можно показать бег нарисованных фигур, и этикетки с изображением женских лиц, содранные с пластмассовых баночек из-под плавленого финского сыра, служившие новогодними елочными украшениями. И был угол, где пахло тленом, и они догадывались, что в этом углу он прячет накоп-

ленные деньги, так как угол этот много лет назад был объявлен священным и давно уже никто не подметал там пол, не срывал паутину у потолка и не пытался выбелить пожелтевшую стену, опасаясь зажечь яростный огонь запрета в его глазах. Но относительное спокойствие за судьбу скопленных денег при дневном свете часто покидало его ночью, когда, разбуженный яркими сполохами предостережения, он вскакивал с кровати с лицом, светящимся в темноте, одним упругим длинным прыжком, невообразимым для семидесятилетнего возраста, вскакивал на стул, стоявший у стсны, срывал ружье вместе с гвоздем и куском штукатурки и, обратив лицо к священному углу, разрушая черную тишину дома голосом, дробящимся от бешенства, орал: уйди оттуда! Уйди оттуда, зараза! Убью, сволочь! Уйди, говорю! — и орал до тех пор, пока бабушка не зажигала свет, и тогда, убедившись, что в священном углу никого нет, он угрюмо забивал выдернутый ружейным ремнем гвоздь и, повесив ружье на стену, молча ложился спать.

Ночные вспышки ярости обычно возникали непредсказуемо, но раз в год, в ночь на двадцать восьмое сентября, вспыхивали с неумолимой регулярностью, и объяснялось это тем, что в этот день к нему приезжали из районного центра, чтобы содрать годовой взнос в пользу общества охотников, и он стоял перед ними серый после бессонной ночи, зажав в заскорузлом кулаке пять рублей, терзаясь единственным вопросом, который задавал им каждый год, а они невозмутимо объясняли — на содержание чиновников районного, областного, союзного обществ, на...; тогда он говорил — да чтоб им сдохнуть, заразам; они объясняли — на пропаганду, на издание журнала «Охотник»; он сверлил их

зловещим взглядом и говорил — я его в глаза не видал, этот ваш журнал,— и говорил — на хрен он мне нужен — а потом говорил — значит, мне должны приносить его бесплатно и что ж не приносят?; они ему говорили — за подписку платят отдельно; тогда он орал — так я ж вам плачу, заразам проклятым, каждый год плачу!; они говорили — а вы не платите; он говорил — а что ж вы претесь ко мне?; они говорили — ружье конфисковать; тогда он говорил — шиш вам, а не ружье,— и говорил — на, подавись этой пятеркой — и говорил — сами-то небось не платите; тогда они молча совали ему под нос членские билеты и уходили, а он орал им вслед — сколько ж получают эти чиновники, мать их...— и орал — эй, стой! Сколько же они получают?

Ему исполнилось семьдесят четыре года, когда истек двадцатилетний срок выплаты по трехпроцентному займу шестьдесят второго года, и с первого января до тридцать первого декабря этого года он вставал каждый день в четыре часа утра, тогда как обычно вставал в шесть часов летом и в семь зимой, ел лишь утром, до того, как приносили газеты, и сидел у окна, выходящего на улицу, в ожидании газет и, едва завидев почтальона, следил за его приближением, привстав со стула, осторожно выглядывая из-за ветхой занавески, в нетерпении шевеля потрескавшимися губами, в любую минуту готовый отпрянуть от окна, стоило только голове почтальона повернуться в его сторону, затем, убедившись, что тот пошел дальше, крадучись, не обращая внимания на бабушку, выходил из дома, беззвучно ступая по снегу в изношенных тапочках, открывал калитку, бдительный, настороженный, точно убийца, и, сунув руки в ящик для писем, прибитый к

наружной стороне забора, извлекал оттуда газету, и так же осторожно, стараясь не издавать лишнего шума, способного выдать его бешеное нетерпение, прикрывал калитку, а потом опрометью бросался в дом, оставляя мокрые следы на полу, садился на кровать и, надев очки, прочитывал газету от корки до корки, наделяя печатные слова смыслом столь великим, многозначительным и многообещающим, что, прочитав все и не встретив даже упоминания об официальной таблице погашения займа, неподвижно сидел несколько часов подряд среди осыпавшихся облаков невесомого, остывшего пепла и какой-то шелухи, среди призрачной катастрофы, разрушения огромного здания Справедливости, которое он строил с четырех часов утра, используя вместо камней и бетонных плит эфемерные частицы перегоревшего песка, а на следующий день все повторялось в строгой, изначальной последовательности. Между тем, в конце года, так и не обнаружив в газетах таблицу погашения, он вдруг неожиданно обнаружил в себе упрямую, непоколебимую веру в государство, в Союз, сохранив, однако, в полной неприкосновенности неверие в отдельного человека, потому что был твердо убежден: человек в одиночку непременно солжет и оправдает себя в одиночку, но общество солгать не может; и он думал — брехать вдвоем куда трудней, чем брехать в одиночку, — и думал — а втроем это вообще невозможно — а потом, верный своей привычке ставить все с ног на голову, думал — ведь не один же сукин сын обещал нам выплатить деньги за двадцать лет по этим чертовым облигациям, ведь они все обещали, все вместе. Он ежедневно читал выписки из энциклопедического словаря, сделанные им очень давно в толстой, пожелтевшей от времени, тет-

ради, где записывал фамилии и земельные наделы, спорность которых разрешал при помощи своего аршина, а также рецепты целебных отваров и названия диких трав и где было записано следующее: «Заем — в гражданском праве договор, в силу которого одна сторона (займодавец) передает другой (заемщику) в собственность деньги или вещи, определенные родовыми признаками — числом, весом, мерой (напр., зерно), а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества, а также было записано: «Облигация (от латинского — обязательство) ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного процента (в форме выигрышей или оплаты купонов). Облигации подлежат погашению (выкупу) в течение обусловленного при выпуске займа срока».

Третьего января следующего года он пошел в районный центр по глубокому, свежему снегу, отливавшему синевой, и вернулся ни с чем, потому что в сберегательной кассе ему сказали то, что он знал сам, а именно — без официальной таблицы погашения займа деньги выплачены быть не могут. Он спросил — когда они будут выплачены? — потому что ему нужен был новый установленный срок, чтобы задаться целью до него дожить, новые обещания, и не одного человека, а тысячи людей, которые дали бы ему возможность верить, которые сказали бы ему — вот доживи до такого-то числа и получишь свои деньги — и он дождался бы до этого числа во что бы то ни стало; но ему сказали — никто не знает; он спросил — когда это будет?; ему ответили — вы что, глухой? — и сказали — мы не знаем; тогда он спросил — а если я скончаюсь?; ему сказали — получат

ваши дети — и сказали — эти облигации на предъявителя; некоторое время он молча смотрел на них, а потом, тыча себя в грудь пальцем, коричневым, пегнувшимся, точно корень, сказал — их должен получить я — и сказал — я — а потом сказал — потому что я знаю, что с ними делать, а они ни черта не знают — и сказал — они такие же дураки, как вы, и хрен они чего от меня получают! Ясно вам?; но они ничего не могли ему сказать. А по дороге домой, проваливаясь в свежем снегу, пораженный бессмысленностью своих устремлений, движений, слов, бессмысленностью своего терпения, он думал — господи! — и, стиснув зубы, думал — господи! — вспоминая, как пятнадцать лет назад гонялся за бабушкой, судорожно зажав в руке велосипедную камеру, сложенную вдвое, стараясь достать, ударить ее за то, что, собравшись вытряхивать его матрац, она случайно сбросила на пол облигации и наступила на них; и он думал — господи, господи! — вспоминая, как изводил молодых медсестер, приехавших делать ему уколы и говоривших — вам нужно ложиться в больницу — и — дома вы загнетесь — и — мы вас сейчас отвезем; но он жил предчувствием Дня Погашения Займа, дня расплаты с ним государства, и вера существовала в нем, пропитав ткань организма, способная разрушить бастионы обмана, переварить яд отравления, повернуть вспять приближающуюся смерть, и он был убежден, что вера, неотделимая от крови, ставшая одним из ее компонентов, вера, не покидавшая его двадцать лет, не может обернуться ложью, и он орал — хрен вам! — и орал — хрен я поеду в больницу! Ясно вам? — и орал — катитесь отсюда в чертовой матери, заразы, телки проклятые! — А потом, когда, спрятав шприцы и ампулы в свои чемоданчики, они уходили, он, глядя на бабушку

прищуренными, воспаленными глазами, орал — я в больницу, а ты сразу шасть под матрац, да? — и, наслаждаясь прозорливостью своего ума, с удовольствием орал — да? — и орал — хрен вам, а не в больницу! Но все эти воспоминания отступали перед одним, которое не оставляло, преследовало его с этого дня, вытеснив из сознания веру в День Погашения Займа, прочно заняв ее место. И возвращаясь домой по ослепительно-белому снегу, он думал — господи, господи, господи, — вспоминая, как три года назад бродил осенней ночью по соседскому дому впотьмах, без свечи или фонаря, натываясь на углы и стены, впитавшие зловещий запах карболки, обыскивая шкафы, столы, кровати, ящики в поисках облигаций непогашенного займа, натываясь то на посуду, то на ветхий, пыльный хлам, в то время как на столе, посреди большой комнаты, стоял гроб с умершим накануне хозяином дома, его единственным другом, и, повинувшись безотчетному стремлению оправдать государство, стремлению проявить свою лояльность, он бормотал в темноте — ты сам виноват, что не дожил, — и бормотал — государство здесь ни при чем, раз еще не истек срок выплаты — а потом бормотал — тебе же было сказано, что отдадут через двадцать лет, а ты вот не дожил, и потому только ты и виноват. Но в глубине души он понимал, что государство не нуждается в оправдании наравне с землетрясением, потому что видел в государстве лишь одну из сил природы, не имеющей ничего общего с живыми людьми — и если разрушало, убивало, гноило государство — это разрушала, убивала, гноила природа — это, как затмение, как камнепад, как полнолуние, как дождь, — думал он. И он думал — а я вот нуждаюсь в оправдании — и думал — но у меня оно есть. И он гово-

рил в темноту скороговоркой — я сейчас все правильно делаю, ведь это я вернул тебе память — это облигации и так могли бы быть моими, даже если бы ты не помер,— я же был с тобой в ту ночь на дороге и я первый увидел над кукурузным полем шаровую молнию и я сразу указал тебе на нее, сказал тебе, что она нас почуяла, и я сказал тебе, чтоб ты не шевелился, пока она не уплывет к сосновому бору — все они берутся от хвои и всем им лучше бы там пропасть, но ты ведь не послушал меня, ты пустился наутек, и она догнала тебя — это хорошо еще, что она тебя не коснулась, а просто повисла над тобой. Когда ты упал — это было просто воздействие на коротком расстоянии — и ведь это я вытащил в ту ночь твой запавший язык, я вернул тебе память — ты без меня не нашел бы собственный дом, потому что забыл совершенно все — и, конечно, я мог бы не напоминать тебе про облигации, но я напомнил — и что же мне теперь делать, и где же мне их теперь искать? И у него была одна ночь на поиски, ради которой он в течение двух дней убеждал людей, что нет надобности посылать телеграмму единственной дальней родственнице покойного, живущей на другом конце земли; он говорил им — она все равно не приедет — и говорил — он был моим другом, моим. Ясно вам? — и говорил — я сам буду его хоронить — и — мне помогут — а сам думал — мне бы одну ночь, только одну. Страх размягчил изнутри его кости, точно запертая в костном лабиринте ртуть, но он, заряженный холодной яростью осенних звезд, с маниакальным упорством обшаривал дом, руководствуясь не столько своими желаниями, сколько сверхъестественным высшим долгом, наугад открывая двери и дверцы, выдвигая ящики, скидывая одеяла, роясь в сундуке, чихая в нафта-

линовой пыли, ступая в темноте среди призрачных фигур, порожденных запахом карболки и неживой материи, запахом свежих досок и древесной смолы, зная, что если сегодня не найдет облигации, то завтра уже не сможет продолжить поиски, потому что после похорон дом отойдет в собственность сельскому совету, а затем новому владельцу. И он не нашел их. И, проваливаясь в свежем снегу по дороге домой, ослепленный искрящейся белизной, он думал — господи! — и думал — ну кто же мог знать, что перед смертью этот засранец повесит облигации на гвоздь в своем нужнике, а новый хозяин, не глядя, подотрется, а только потом посмотрит — и он думал — господи, господи — вспоминая.

Он вернулся домой иным с виду, но в его походке, в повороте головы, в угрожающем мерцании вездесущих, караулящих глаз они видели проблеск былых повадок и понимали, что внутри он остался прежним, не сгоревшим, как фитиль свечи под воском, несмотря на то, что имевшие место события, казалось, неминуемо должны были бы привести к быстротечной дефлаграции, ибо несгибаемым стержнем его естества была ныне поруганная вера.

Он более не верил в большое государство, что, впрочем, не мешало ему по-прежнему истово верить в маленькое, а доказательством тому служили его участвовавшие сволочные выходки, в результате которых он окончательно вывел из строя бабушку, которая была на три года моложе его, но не обладала даже ничтожной частицей той дьявольской злости, что взрастила, вскормила его дух, заставляя сопротивляться старению. Она родила ему одиннадцать детей, и вследствие женских болезней, усугубленных тяжелой, изматывающей физической работой, уже пять или шесть

лет испытывала постоянные приливы жестокой боли, из-за которой не могла ни сидеть, ни лежать, а лишь непрестанно двигаться. Кроме того, ее не миновал быстро прогрессирующий старческий склероз — она помнила лица, но не помнила имена, помнила плоды, но не помнила деревьев, она помнила числа, но не помнила их достоинства, помнила даты, но не помнила события. И, скрывая по укоренившейся бессознательной привычке затопившую тело боль, панически страшась докторов, она двигалась в этом темном изменившемся мире зыбких ненадежных предметов, нащупывая твердую опору, в то время как старая кровь уносила из мозга распадавшиеся биты памяти, и воспоминания терялись, растворялись в бесчисленных капиллярах, и какое-то время она способна была помнить кожей. Не позволяя ничего с собой делать, она чуть было начисто не лишилась рассудка от дикой боли в пальцах ног, пока не приехала из Москвы их предпоследняя дочь и почти насильно не остригла садовыми ножницами окостеневшие, переплетенные ногти, не дававшие ей ходить. Но скоро непрерывное движение и бессонница вытеснили все, кроме пребывания в вечности.

Были дни, когда Крайнова посещали сомнения, смутные предчувствия, чего практически не случалось ранее. В такие дни он все чаще и чаще сидел в священном углу, под застекленной иконой, чувствуя затылком легкое прикосновение паутины и присутствие стены, опираясь плечом на высокую устойчивую этажерку из светлого дерева, на которой были аккуратно размещены три шкатулки с письмами, фотографиями, телеграммами и важными документами, удостоверяющими личность и все то, через что личность обязана

была пройти, выучить, взять на вооружение; а также коробки из-под конфет, хранившие неисполненные письменные обещания властей, баночки из-под леденцов, куда сложены были знаки отличия вместе с нитками, иголками и давно оторвавшимися пуговицами. Иногда он вспоминал о бабушке, которая медленно ходила по дому, погруженная в вечность, придерживаясь за стены, не в состоянии сесть или прилечь, находясь постоянно в поле его зрения, как его собственные ресницы, как часть его носа; и он думал — если вспомнить о них, то их видишь всегда, а если не вспоминать, то их как бы и нет. Он слышал стук деревянной ноги Мамы Всех Детей и думал — я слышу стук, если вслушаться, а можно о нем забыть, как о стуке сердца, как о стуке крови, тогда его как бы и нет. Время от времени он поднимал голову и обращался к портретам своих детей, развешенных на трех стенах, отдавая резкие, отчетливые приказы, уверенный, что все они будут выполнены, если не сегодня, то завтра, но иногда он повторялся и ему становилось стыдно. А между приказами он говорил портретам — все опоры могут рухнуть, но мы останемся жить, и лишь крушение Земли означает смерть окончательную — потом он говорил — но ведь кто-то останется — и говорил — но это будем уже не мы. Это будет уже другое племя.

Никто не удивился, когда он не заплатил взнос за ружье на следующий год после истечения срока выплаты государственного займа, но удивились, что за этим ничего не последовало и никто не пришел конфисковывать ружье. А он все более обрастал воском молчания и отчуждения. Они пришли только через год, двадцать восьмого сентября, со своими членскими билетами, готовые сунуть их ему под нос при пер-

вом слове протеста, и Мама Всех Детей вышла к ним, чтобы сказать, что его нет дома, но он снял со стены ружье, постоял минуту у окна, а потом извлек из запущенного, священного угла пять рублей, запихнул их негнушимися пальцами в нагрудный карман клетчатой рубашки и медленно пошел к ним, стараясь выиграть время для раздумий, все еще не зная, что отдать, и до последнего шага не знал, а потом подумал, что сами руки должны сделать выбор, и когда он остановился перед ними, глядя на далекий сосновый бор, руки его, не дрогнув, медленно протянули им ружье.

ОРУЖИЕ

Первым делом он сжег все книги, картины, репродукции и фотографии, полагая, что они могут сбить с толку, попадаясь на глаза, или могут просто мешать, когда дело дойдет до осады. На это ушел весь день, но не потому, что их было много, а потому, что они медленно горели. Кожаные переплеты книг и позолоченные рамки картин приводили его в отчаяние. Он неподвижно стоял перед камином в длинном коричневом халате и дырявых тапочках и думал о том, что у него мало времени, мало времени, и смотрел, как огонь давится кожаными переплетами старинных фолиантов, точно собака, которая не может проглотить забитую в глотку кость. Позолоченные рамки огонь обходил стороной, как воду, и он подумал, что они не деревянные, или деревянные, но обмазаны толстым слоем окаменевшей замазки. Сами картины давно сгорели. Наконец, кожаные переплеты рассыпались прахом, а позолоченные рамки, не тронутые огнем, запылали под его неистовым взглядом, и тогда он свалился в кресло без сил и почувствовал, что упал с невыносимой высоты, как если бы бог упал на землю; почувствовал себя тяжелым и смертельно уставшим для всего, что предстояло сделать.

Когда силы вернулись к нему, на улице была гроза. Он вышел на террасу, посмотрел в лес и подумал, что, если они пойдут на него сейчас, все будет копчено и не нужно было ничего сжигать.

Он постарался не думать об этом.

И тогда он подумал: если они двинут на него пушки, танки, самоходки, для того чтобы сровнять с землей все то, что испокон веков равно земле, он будет бессилен что-либо сделать. Это привело его в отчаяние, более глубокое, чем то, которое он испытал, когда кожаные переплеты и позолоченные рамки не горели в огне.

Он постарался не думать об этом.

И тогда он подумал: они могут поднять самолеты, которые уничтожат его, и уничтожат все, что не являлось им, на тысячи миль вокруг.

Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолеты. Это все равно что снаряженный для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал лопастями одну медузу.

Он постарался не думать об этом.

Он зашел в спальню, открыл гардероб, достал старую военную форму и маскхалат, который маскировал лишь на траве, под бликами солнца. Нашел под кроватью одежную щетку, смочил ее водой и тщательно вычистил форму и тяжелые, в заклепках, сапоги. Разделся и принял холодный душ. Потом надел форму и сапоги, тяжесть которых приковала ноги к полу, а поверх формы надел маскхалат и почувствовал себя деревом, которому предстоит ходить. Мало-помалу он привык ходить в сапогах и привык не обращать внимания на собственную медлительность, полагая, что черепаха обязана долголетием своей медлительности.

Он подумал: думать необходимо так же медленно, как двигаться, иначе умрешь внутри гораздо раньше, чем снаружи. Кроме того, необходимо замедлить бег крови в жилах — тогда меньше износ, потому что слабее трение; замедлить частоту ударов сердца, потому что молоток, которым забьют тысячу гвоздей, износится раньше молотка, которым забьют один; приостановить стремительность мысли до медлительности часового маятника — вот в чем секрет.

Он заснул в кресле далеко за полночь и проснулся в полдень с мыслью о танках и самолетах. Он заметил, что при мысли о танках и самолетах у него дрожат руки и ноги, выпадают волосы, слабеет зрение и цепенеет мозг. И он понял: если постоянно думать о танках и самолетах — не проживешь дольше бабочки. А потом подумал, что давно у них в руках. Прислушался и глубоко вздохнул. Было тихо, и тогда он вспомнил о бесшумном убийстве; и тогда от отказался от еды и воды, потому что все это могло быть отравлено, и понял, что в конце концов придется отказаться от сна, потому что во сне человек беспомощен, как вещь.

Он постарался не думать об этом.

Спустился на первый этаж и проверил, заперты ли замки и засовы входной двери. Убедившись, что отсюда они не смогут проникнуть в дом бесшумно, он проверил засовы на ставнях всех окон первого и второго этажей.

И тогда он подумал о террасе, которая выходила в лес. В глубине сознания он твердо знал, что они придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу. Теперь он понял, что знал это всегда и родился слепым, немым, глухим, но твердо зная, что они придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу.

Он установил на террасе два станковых пулемета, и лишь на то, чтобы их туда вытащить, ушло полдня. Намертво закрепил, прикрутив наваренные стальные пластины стоек к полу террасы огромными болтами, какими крепятся высоковольтные столбы, для того, чтобы пулеметы не повернули против него, если терраса все-таки будет захвачена. На случай захвата террасы он установил в комнате напротив ручной пулемет, диск которого был заряжен разрывными пулями с крестообразным надрезом и полостью в головной части. Он установил ручные пулеметы в каждой комнате и снял с предохранителей, потому что потом на это могло не оказаться времени.

И вновь подумал о самолетах и танках, и мозг сковало отчаяние.

Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолеты. Это все равно что снаряженный для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал лопастями одну медузу.

Он стоял на террасе лицом к лесу, между станковыми пулеметами, лафеты которых были зафиксированы стальными штырями влево-вправо на горизонтальный разворот стволов в радиусе тридцати градусов. Он думал: если они пойдут на террасу клином, левый станковый пулемет он укрепит, повернув ствол до предела вправо, и поставит кусок арматуры в распор на гашетку, а за правый станковый пулемет встанет сам, потому что от правого станкового пулемета ближе до двери в комнату перед террасой, куда он будет отступать. Таким образом он противопоставит клину противника конус пулеметного огня из двух точек, то есть клин в клин. Но если внешние стороны клина пулеметного огня работают, то внутри клин по-

лый. И тогда он просчитал в шагах расстояние от одного станкового пулемета до другого, высчитал радиус разворота стволов и высчитал расстояние до точки, где пулеметные очереди пересекутся, образуя конус. И тогда он взял топор, сошел с террасы на землю и прошагал высчитанное в шагах расстояние до точки и сделал крупную зарубку на стволе дерева — и это была точка, где пулеметные очереди пересекутся.

При проходе клина противника в непростреливаемое станковыми пулеметами пространство полого конуса оба пулемета теряют значение, и он будет вынужден отступить в комнату перед террасой, за ручной пулемет с разрывными пулями, и стрелять через двери, ведущие на террасу поверх парапета. В этом случае ручной пулемет, установленный в комнате, окажется важнее двух станковых, установленных на террасе и предназначенных лишь для того, чтобы уложить единиц столько, сколько он успеет, пока они не прорвутся за отмеченное зарубкой дерево.

Но он сказал: они не пойдут клином.

Если они пойдут фалангой — сомкнутым строем — с последующим окружением дома, один из станковых пулеметов, точнее, левый без стрелка с закрепленным в одном положении стволом, почти теряет значение, так как от его пуль легко увернуться. И если они на время откажутся от захвата террасы, остается ждать нападения со стороны входной двери, после того как они окружат дом, но и террасу бросать нельзя.

Он постарался не думать об этом и не думать о голоде и жажде, прекрасно понимая, что глупо отравиться сейчас, когда все, что он хотел сделать, сделано, и необходимо только ждать.

Он еще раз прошел по комнатам, проверил пулеметы, и поцеловал ствол каждого, и поцеловал нож, который держал при себе и лезвие которого звенело, как хрусталь.

Пеплом из камина он нарисовал стрелки на стенах комнат, заранее определив и указав себе путь отступления — из комнаты в комнату, и подумал, что этот маршрут действителен, если он поведет оборону дома, начиная с террасы. Кроме того, он нарисовал на стенах комнат курсивные стрелки — путь отступления, которому он должен следовать, если нападут со стороны входной двери и отступить придется, начиная с прихожей. И те и другие стрелки сходились в самой дальней угловой комнате, где не было ни мебели, ни пулеметов, где много лет назад он родился.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

От прежней жизни у него остался гул в ушах, но уже не настолько громкий, как бывало прежде, когда казалось, что гудит все тело, гудят кости, зубы, ногти, не настолько всепоглощающий, что, казалось, рушится темная пещера его организма, не тот гул, за которым не слышно человеческих слов, направленных прямо в ухо; но себе он давно сказал — это гул моего сердца. И если прежде он не мог слышать собственных слов, а знал лишь свои мысли, то теперь, женившись на женщине, которая подобрала его на вокзале и привела к себе, поставив перед своей матерью, он мог слышать их обеих, стараясь привыкнуть, впустить в себя отчетливую речь, превратив чужие слова в нечто физически ощутимое, чувствуя их кожей лица, как легкие, почти невесомые комки ваты; однако избавиться от привычки орать в тишине, пытаться перекрыть гул внутреннего обвала, ему так и не удалось, и голос его, пронзительно громкий, выкрикивавший слова, смысл которых казался тем более абсурдным, чем громче он их выкрикивал, звенел в оконных стеклах, мутил прозрачную воду, тревожил пепел в печи.

Как все это произошло у них на вокзале, мать Марии так и не узнала, скупо, дотошно храня в памяти день появления своей дочери с мужчиной полутора-

метрового роста, одежда которого годилась разве что на факела; она видела этот день бессонными ночами в гипнотическом трансе все семь лет, что предстояло ей прожить, начиная с этого дня; и видела главное событие этого дня на смертном ложе, погруженная в мягкое петоропливое течение умирания — и они плыли вместе с ней, окаменев в ее сознании, такими, какими она запомнила их навечно — не успевшие еще раскрыть рта, не успевшие еще породниться и сделать все то, что сделали потом — ее дочь со своим будущим полутораметровым мужем, молча стоящие перед ней, готовясь, не испросив благословения, сообщить о своем решении.

Но, как и следовало ожидать, поступок Марии мало удивил тех, кто ее знал, а знали ее очень многие; иными словами, от нее давно уже ждали чего-то подобного, особенно в последнее время, наблюдая в течение пятнадцати лет, как она, пытливо всматриваясь в ночное небо, ищет свою звезду, посылая во вселенную заряды неистовой жажды материнства; поэтому можно было не сомневаться, что как только она отыщет эту звезду, самое позднее утром, выйдет на улицу с сетью и веревками, поймает, свяжет первого попавшегося мужика и затащит его в дом.

Привела она его в среду в одиннадцать часов утра, а в половине двенадцатого он уже стоял голый посреди двора, между коровником и сараем, где хранилось сено, перед большим, глубоким тазом, наполненным теплой водой; его старая одежда, аккуратно сложенная, лежала в стороне, и потом, когда Мария, вооружившись жесткой мочалкой и мылом, нагнула его над тазом, молча, бесстрастно намывая совершенно белое, почти безволосое мужское тело, он то и дело, на-

прягая шею, косил глаза в сторону одежды, вокруг которой бродили куры. Вся тщательно проведенная процедура отмывания заняла не более получаса, после чего, вытерев его досуха махровым полотенцем и прихватив старую одежду, она завела его в дом, в комнату, которую с шестнадцати лет считала своей, где на широкой, девственной кровати лежала новая мужская одежда с ценниками — светлая рубашка кремового цвета, темные наглаженные брюки с новым хрустящим ремнем, уже вдетым в петли, синие носки и черные блестящие туфли — все то, что она медленно и разборчиво покупала с двадцати до тридцати пяти лет, в предчувствии неизбежного замужества, для придуманного мужчины среднего роста и телосложения; и она сказала ему — вот! — и сказала — это твоя новая одежда, надень ее — а потом вышла, прикрыв за собой дверь, оставив его наедине с незримым духом женского одиночества, который, по ее мнению, должен был убедить его в том, что здесь он первый и последний мужчина, по крайней мере, до тех пор, пока комната эта принадлежит ей.

Он появился у нее за спиной, облаченный во все новое, когда она стояла на кухне у плиты, уже проверив карманы его старой одежды, перед тем как выбросить и, не замечая его появления, не оглядываясь, держала в одной руке плотный, многократно сложенный бумажный лист, а в другой — темную тряпку, в которой было что-то завернуто; в следующую секунду сложенный бумажный лист полетел в мусорное ведро и, сразу же, мгновенно, в ту же секунду он заорал — стой! — и еще раз, почти без паузы дико заорал — стой! — уже кинувшись к ведру, с грохотом опрокинув его на чистый половик и разбросав картофельные очистки, кури-

ные потроха и кашеобразную жижу, предназначавшуюся свиньям, схватил обеими руками истертую по краям бумагу и принялся тщательно отряхивать от нечистот, стоя на коленях, прямо у перевернутого ведра. Тогда она, еще не придя в себя, сдавленно сказала — господи — и сказала — что это?; а он заорал, выпрямившись, но не поднимаясь с колен — что это, что это?! — и перекосив слишком маленькое для такой большой головы лицо заорал — это моя родословная! Она стояла перед ним, в изумлении приоткрыв рот, застывшая, побледневшая, никогда не слыжавшая, что у кого-то, кроме охотничьих собак и персидских кошек бывают родословные, а он, отряхнув чуть подмокшую бумагу, поднялся с колен, нелепый, в одежде не по размеру, но словно не замечавший, не думавший об этом, чувствуя, как барабанные перепонки лопаются от чудовищного гула, быстро протянув руку, вырвал у нее тряпку, в которой было что-то завернуто и заорал — дай сюда! — потом заорал — вот так! — а затем вышел из дома и долго сидел в саду, упершись взглядом в ствол сливы, и тело его сотрясали каменные удары сердца, а он бормотал себе под нос — черт, черт, лишь бы не треснули ребра, лишь бы не треснули ребра.

Но тем же вечером, когда гул в ушах немного утих, а сердце смягчилось в груди, некоторое время просидев молча у окна в сумеречной тишине, он подошел к столу и разложил перед Марией пресловутую потрепанную бумагу, оказавшуюся старым, но довольно плотным еще ватманом размером в квадратный метр, и велел позвать мать. И они обе склонились над столом в мягком, желтом свете абажура, и тени их упали на многочисленные имена и фамилии, расположенные в строгой последовательности, с различными пометка-

ми, вплоть до роста, непонятными кабалистическими знаками, крестами и цифрами, знаками зодиака и ровными, короткими стрелками, указывавшими на кровную связь — и если бы они сумели досконально разобраться, вникнуть в эту целостную, строго выверенную геральдическую схему, в которой предстояло занять место и одной из них, они увидели бы историю постепенно деградирующего рода, о чем свидетельствовало неуклонное понижение физического роста и столь же неуклонное повышение роста болезней его представителей, зачинателем которого фигурировал некий гигант, вокруг фамилии которого не было ни одного порочащего знака, ни одной пометки, указывавшей на какое-либо отклонение в могучем организме, кроме знака зодиака и цифры девяносто девять, означавшей количество прожитых лет. Десять минут стояли они в полном молчании, склонившись над столом, не отрывая глаз от четкой, мертвой картины, так, что в конце концов им показалось, что они уже видят застывшие, угрюмые лица всех этих людей, спрятанные, прикрытые непроницаемыми масками одинаковых фамилий, а потом он, ткнув пальцем в самую нижнюю, одиноко выступающую из плотных рядов фамилию, сказал — это я.

И это был единственный раз, когда он позволил им воочию увидеть истоки своей крови, но сам он, как минимум, раз в неделю раскладывал ватман и часами просиживал над ним, точно археолог, путешествующий по миру посредством географической карты, упорно расшифровывая знаки, выискивая пометки, означавшие болезнь сердца. В эти часы мать, улучив момент, неизменно говорила Марии — этот человек скрывается от закона — и говорила — вот увидишь — и неустанно повторяла эти слова, нанизывая свои со-

мнения на спицу несгибаемого характера дочери, пока последняя не взвилась наконец, уступив приступу праведного гнева, и не закричала — ну и пусть, пусть! — а потом сказала спокойнее, криво улыбаясь каким-то своим мыслям — я-то не закон — и сказала — ведь я-то не закон; но мать ей сказала — это правда, я чувствую, что это правда; тогда Мария, глядя матери в глаза, впервые произнесла вслух единственное правило, которое сумела вывести за тридцать пять лет жизни — есть одна только правда и она состоит в том, что мы живем здесь и нигде больше и только этой правды следует придерживаться, в эту правду следует верить, а все остальное ложь, потому что все остальное можно вывернуть наизнанку.

За два дня до того как они с Марией законно оформили свои отношения, он купил у вдовы художника Пала серый, нестарый еще костюм, за сумму более чем скромную, с тем, чтоб надеть его на свадьбу. Перед этим вдова сказала ему — надо тебе знать — мой муж умер в этом костюме; тогда он ей сказал — а я стану в нем жить; она ему сказала — ну живи — и сказала — только не живи так, как жил он. А накануне свадьбы Мария, увидев, как он перекладывает из кармана рубашки в карман пиджака грязную тряпку, ту самую тряпку, в которой было что-то завернуто, приблизившись к нему, сказала — погоди — и протянула ему небольшой табачный кисет, который нашла в ящике старого комода, среди вышедших из оборота денег, ветхих носовых платков и пожелтевших писем; он молча смотрел на нее; она ему сказала — выброси эту тряпку — и сказала — переложи все в этот кисет и носи с собой, если хочешь; он так же молча смотрел на нее, а потом развернул тряпку, в которой оказались пас-

порт, военный билет, немного денег и два маленьких сверточка из папиросной бумаги; она спросила — а что здесь? — указывая на маленькие сверточки; тогда он медленно, бережно развернул хрустящую папиросную бумагу и она увидела семь белых красивых зубов и локон волос, и она спросила, дотронувшись до них пальцем — это твои зубы?; он ей сказал — да — и сказал — эти зубы выпали у меня в детстве, а потом выросли другие; она улыбнулась, а он смотрел на нее, и это был один из тех редких случаев, когда в груди его царила глухая тишина; она сказала — а это волосы ребенка; он ей сказал — семилетнего ребенка; она спросила — это твои волосы?; он ей сказал — нет — потом спокойно сказал — это волосы Идеи.

А уже на следующий день после скромной, незаметной свадьбы он вновь надел серый выглаженный костюм, в котором умер художник Пал, и пошел в районное бюро по трудоустройству, где в квадратной светлой комнатке с кактусами и столетником на облупившемся подоконнике женщина средних лет, с лицом желтым, непроницаемым, как дыня, узнав, что трудовая книжка им потеряна неизвестно где, принялась перечислять профессии, заглядывая в какие-то бумаги, кипами лежавшие на лакированном столе, а он молча, тупо покусывал ногти, сидя на колченогом стуле, одурманенный нудным усыпляющим голосом, произносившим, казалось, одно только слово, но на разный лад, предлагавший, казалось, одну только профессию, но с разными интонациями; одурманенный шуршанием ненавистных бумаг, он ответил ей лишь раз, когда она предложила ему работу, связанную с писаниной, и он с яростью сказал — я ненавижу коняться в бумажках!; и наконец она сказала — ну, хорошо — и

спросила — на что ты годен? что ты умешь делать?; тогда он, не задумываясь, сказал — стрелять.

И он устроился работать в обшарпанный, грязный тир на базарной площади, где в течение четырех дней навел небывалый порядок, ибо видел в этом глубокий смысл. Твердо убежденный, что навсегда покопчил с пустым гулким существованием, приходил на работу с рассветом и до открытия упорно, самозабвенно возился в сухом холодном помещении тира, начищая духовые ружья, подкрашивая вырезанные из тонких листов железа фигурки зверей и птиц, используя при этом исключительно яркие краски, чтобы облегчить попадание в цель людям со слабым зрением; он заменил тусклые, едва тлеющие лампочки, и в помещении тира стало просторно и светло, смастерил крепкие, устойчивые скамейки для маленьких детей, а также подставки для ружейных стволов. В десять часов утра от открывал тир, садился в свою каморку с узким окошком, откуда выдавал пульки, и сидел там, погруженный в целебные воды тихой радости, не замечая посетителей, не замечая, как его собственные руки принимают деньги и отсчитывают пульки, но, улавливая каждый шорох, каждый подземный стон, ибо биение сердца не мешало ему более слышать мир. Как раз в это время люди, встречаясь с ним взглядом, стали замечать в его глазах спокойную, холодную мудрость, а те, кто разговаривал с ним, вынуждены были напрягать слух, чтобы услышать его тихий, умиротворенный голос. А вечером, тщательно прибравшись в тире, он шел домой, прижимая к беззвучному сердцу табачный кисет, в котором хранились семь белых зубов и волосы Идеи.

Между тем мать Марии, чьи стареющие ноги, оплетенные взбухшими сине-зелеными венами, точно

старинные бутылки, требовали тепла, стала явственно замечать веяния холода от резких движений зятя, и холод этот, за три месяца его проживания, распространился по всему дому, пропитав кирпичные стены; она стала замечать пронзительную прохладу, исходившую от крашенных досок пола и поверхностей столов, прохладу от шкафов, зеркал и швейной машинки; кроме того, она стала замечать, что одевается в доме теплее, чем при выходе на улицу; в доме исчезли мухи, а те, что не сумели вылететь, засыпали и дохли, как глубокой осенью; святое распятие, которое она неизменно украдкой целовала на ночь, стало ледяным, и ее не покидало ощущение, что продержки она ноги железного Христа у своих губ дольше минуты, отделять губы от распятия придется при помощи горячего молока, как было много лет назад, когда в морозный день она прикоснулась губами к железной стойке качелей. Марии она говорила — ты чувствуешь, чувствуешь, что твой муж превратил дом в погреб? — и спрашивала — как ты можешь с ним спать, если даже я, в другой комнате, ложусь в постель, как в сугроб?; но Мария ничего не замечала, двигаясь по холодному дому, точно горящая спичка, вынашивая в себе адов пламень неукротимой любви, способной не то что растопить лед, но поджечь его, как сухой спирт; а мать ей говорила — боже, да ведь мы подохнем здесь от холода, на этих негнущихся простынях. Но хотя опасения матери были сильно преувеличены, она порой замечала за своим зятем такое, отчего каждому стало бы не по себе: например, она была свидетелем того, как он продержал в руке маленький кусок сливочного масла не менее пяти минут, а масло не только не растаяло, но, напротив, затвердело еще больше, после чего она прониклась убеждени-

ем, что в жилах его заместо крови циркулирует та жидкость, которую используют для нагнетания холода в морозильниках. И по мере приближения зимы она все чаще говорила Марии — мне холодно — и говорила — я мерзну, коченею; Мария ей говорила — ты мерзнешь от своих дурацких мыслей. Но настал день, когда, вернувшись с работы, Мария застала мать сидящей на собранных вещах. Остановившись перед ней, она тихо, зло сказала — что это? — и еще тише сказала — куда ты собралась?; а мать, глядя в угол, где висела опустевшая наполовину вешалка, отстраненно сказала — сегодня мне приснилось, что наша корова околела; Мария сказала — боже ты мой — и сказала — тебе вечно что-нибудь спится — а потом спросила — куда ты собралась?; мать сказала — я поеду жить к сестре; Мария спросила — почему?; мать молча смотрела в угол, поджав сморщенные губы; Мария закричала — почему? ты мне можешь сказать — почему?; тогда мать сказала — там тепло.

Он присутствовал при отъезде матери, но не придал ему значения, не желая нарушать установившегося соотношения нагрузки и опоры в своем организме, ценя превыше всего эту мертвую уравниловку, возможную лишь в архитектонике, которая появилась в нем с тех пор, как он устроился работать в тир, где изо дня в день спокойно, размеренно, неустанно поддерживал идеальный порядок, не расставаясь дольше чем на ночь с пачищенными духовыми ружьями и яркими обреченными фигурками зверей, не отнимая от сердца семь белых зубов и локош волос; при этом он не замечал сухой холод, которым наполнил, заразил дом, не замечал необратимого процесса порчи, проникнувшей даже в камень, поселившейся в стенах, где яростно и

беззвучно горела порожденная крайним одиночеством и беспощадным временем любовь его жены.

И уклад его жизни, после отъезда матери, оставался все также размерен и неизменен, если не считать кое-каких новшеств, связанных с работой в тире, таких, например, как стрельба по живым мышам, что он проделывал с непогрешимой, сверхъестественной меткостью вот уже полмесяца, после того как случайно появившаяся в помещении тира мышь натолкнула его на мысль одухотворить крайне механическую стрельбу, привнести в нее животный азарт псевдосмертельной игры, лихорадочную сладость которой познал сполна его давний родственник, охотившийся в прошлом веке на диких кабанов, кому, по всей вероятности, он и был обязан своим безошибочным глазомером, молниеносной реакцией и безжалостным исполнением, чья кровь преобладала в его крови, чьи инстинкты жили в его теле, наделяя члены электрической стремительностью — тот дал ему все, кроме масштабов, кроме человеческой величины и величины дичи. Между тем, он, в отличие от Марии и ее матери, не мог не видеть явного вырождения своего рода, часами просиживая над ватманом, охватывая взглядом все фамилии нынешнего плена, вспоминая все, что в состоянии был вспомнить, извлекая на свет белые кости полузабытых преданий, испытывая при этом чувство, какое испытывает человек, глядя в перевернутый бинокль; но, сознавая все это, он с недавних пор свято уверовал в ремонтантность, на примере лобелий и бегоний, убедившись, что в этом мире вырождение рода граничит с его возрождением, а порой связано настолько тесно, что постороннему взгляду не заметен сам переходный момент. Уверенность его была столь велика, что он, предчувствуя в себе семя, способное дать миру росток

великого могучего племени, как-то утром подтащил к дому садовую лестницу и залез на чердак, с тем, чтобы спрятать, похоронить там ватман, как нечто позорное, обличающее; и в тусклых лучах серого света, проникавшего на чердак сквозь маленькое, заросшее паутиной окошко, медленно, неуклюже двигаясь в густой древесной пыли, он бормотал себе под нос — я поставлю природу раком — и бормотал — я поступлю с природой так, как сочту нужным; и, пробравшись в дальний угол чердака, он спрятал ватман между обтесанными бревнами и место это завалил старыми революционными журналами, чтобы, уподобившись цветам, навсегда забыть неумолимое прошлое. После этого, не расставаясь с табачным кисетом и его содержимым — с этим скромным, почти невесомым реликварием, который в его сознании весил и значил не меньше, если не больше, чем дамбы, субурганы и мавзолеи — он с головой ушел в охоту на мышей, смастерив для этой цели захлопывающийся плестигласовый ящик с примитивным механизмом, который, однако, действовал безотказно, используя в качестве приманки куски высохшего сыра.

Время от времени Марию навещала мать. Она входила в дом и с порога спрашивала, дома ли муж, а услышав отрицательный ответ, шаркающей походкой бродила по комнатам, и на ее сморщенном, трагическом лице отражалось удивление. Как-то Мария спросила ее — чему ты удивляешься?; а мать, чувствуя тяжелый дух порчи, исходивший от стен, совершенно искренне сказала — я удивляюсь тому, что этот дом еще не рухнул. Движимая злорадством и отчаянием, она шевелила высохшими губами, старательно подсчитывая трещины и желтые потеки на потолке, кото-

рых прежде не было, обращая внимание на все, что отваливалось и покрывалось прожорливой плесенью; почерневшие серебряные ложки и вилки привели ее в состояние, близкое к реанимационному, ибо она была убеждена, что серебро не может почернеть, а коль скоро почернел благородный металл, значит, нет в мире материала, который не рассыпался бы прахом от прикосновения ее зятя, кроме, разве что, ее собственной дочери. В одно из своих посещений она решительно сказала Марии — ты должна вытащить у него этот чертов табачный кисет и утопить его в болоте вместе с тем, что в нем лежит!; Мария сухо спросила — зачем?; мать сказала — а зачем он повсюду таскает свои выпавшие зубы и волосы?; Мария ей сказала — это его дело; мать спросила — чьи это волосы?; Мария сказала — мне кажется, это волосы женщины; мать спросила — какой женщины?; Мария глухо сказала — женщины по имени Идея; тогда мать с презрительным сожалением сказала — Идея — это не женщина — а потом сказала — Идея — это идея.

С тех пор как он избавился от ватмана, похоронив под кипами старых революционных журналов биологическую карту своего рода, а вместе с ней здравую логику жизненных процессов, уверенный, что нет и не может быть другой руки, кроме его собственной, которая возродила и продолжила бы спрятанный на чердаке перечень фамилий; время для него остановилось, и он всерьез задумался о бессмертии. Три недели спустя, когда он подошел к сущности бессмертия, опираясь на неподвижность времени при подвижности организма, когда сознание его готово было выплеснуться в пустоту, ему вдруг приснились мчащиеся черные лошади, и время тронулось вновь. Он проснулся с тяже-

лой головой и с горьким предчувствием беды отправился на работу. И это был тот день, когда ему сказали, что тир закрывают на зиму. И тогда впервые за последние три месяца он услышал сердце и, оглушенный, мгновенно забывший свои псевдосмертельные игры и раздумья над материальным бессмертием, бросился прочь из тира, распахнув ногой легкую дверь, и сначала быстро, а потом все медленней и медленней бежал в гудящей пустыне времени, пока ноги его не начали заплетаться от непосильной тяжести маленького, вибрирующего тела; а потом он, рухнув, коснулся губами жесткой, равнодушной земли, и в мозгу у него расцвел черный цветок.

Дед, который развозил на скрипящей повозке бидоны с молоком, погоняя рыжую плешивую клячу пеньковой веревкой, отвез его в красную кирпичную больницу, где его, все еще трясущегося, пахнущего пролитым на ухабах молоком, подняли и понесли на носилках двое санитаров. В палате они раздели его и положили на неряшливо застеленную кровать, и до вечера он пролежал в бреду, погруженный на дно осени, пытаясь постичь черным цветком мозга, какой сволочи понадобилось лишить его любимой работы на том дурацком основании, что со дня на день выпадет снег. А вечером к нему пришла Мария, но все ее слова, мучительная тревога, надломленность в движениях — само ее существование потонуло в гуле его сердца, как и существование всех остальных людей, живущих с ним в этой стране.

И впоследствии все, что делали с ним местные врачи и врачи, вызванные из большого города, в бесчисленных кабинетах и кабинках разглядывая рентгеновские снимки его души сквозь белые лучи ребер,

снимки его гудящего сердца, в котором с ужасом обнаружили свинцовую пулю, притаившуюся в мышце левого желудочка, обросшую тканевыми волокнистыми соединениями и вместе с рабочей мышцей, гнавшую кровь по сосудам; разглядывая его белую тщедушную безволосую грудь, в надежде найти отверстие от существующей в сердце пули, но, не находя ничего отдаленно похожего кроме соска — все, что они делали с ним, они делали для того, чтобы просветить его темный мозг и придать настоящее и единственное значение непонятому знаку над фамилией охотника на кабанов, который был несправедливо забыт, но означал, что человек этот полжизни прожил с пулей в сердце, куда ее всадили на охоте, то ли по недоразумению, то ли по злему умыслу — и теперь, спустя семь поколений, его наследника постигла та же участь, но с рождения, без выстрела — и все, что они делали с ним, они делали для того, чтобы напомнить ему, что циклу зимы отведено столько же времени, сколько циклу лета, и циклу гула столько же, сколько циклу тишины, и циклу вырождения столько же, сколько циклу возрождения — это не медленно, но и не быстро. Они приходили к нему и спрашивали — что ты в себе чувствуешь? — спрашивали каждый раз — что ты в себе чувствуешь?

И действия их достигли цели, неведомой им самим, в ту ночь, когда, забывшись глубоким сном, он увидел лес давней охоты и встающего с земли человека. Наутро он потребовал у медсестры свою одежду, а она спросила — зачем?; он сказал — я ухожу домой — и сказал — я все понял. Но ему было отказано, и тогда, дождавшись прихода Марии, он велел принести из дома его костюм. И в тот же день, облаченный в

костюм мертвого художника, сжимая в маленьком кулаке табачный кисет, в котором хранились семь белых зубов и волосы Идеи, он предстал перед главным врачом и спокойно сказал—я ухожу домой— и сказал—я все понял; тот сказал—ну нет; он сказал—я ухожу; а тот прищурился и спросил—что ты в себе чувствуешь?; и тогда он твердо сказал—уверенность.

КОРЕНЬ И ЦЕЛЬ

В поселке видели, что Баскаков начал строить дом ранней весной, когда фундамент был уже заложен; видели через невысокий покосившийся забор, как он работает, не поднимая головы, не делая перерывов, чтобы поесть или покурить — с рассвета и до темноты, — по никто не видел, чтобы он спешил. Спал в двух метрах от большой, ветхой собачьей конуры, на сколоченных досках, подложив под голову клубок использованных тряпок, почти не раздеваясь, укрывшись куском промасленного брезента, к утру покрывавшегося росой, а рядом, чуть в стороне от конуры и лохани с водой, лежала крупная срая собака неопределенной породы, но по цвету и толщине шерсти на холке, по дикой пульсирующей свирепости и поджарому заду можно было определить, что сука, родившая ее, путалась с волчьей стаей. Собака любила дождь и весной всегда была грязной, точно болотный буйвол; цепь ее была настолько длинной, что она могла ходить по всему двору, включая самый дальний его угол; спала она днем, когда хозяин работал, а ночью лежала рядом на залитой лунным светом земле, не издавая ни звука и глазами зловещими, бесцветными, точно слюда, смотрела на калитку, готовая броситься на скрип петель, неистовая в своем ополовиненном существовании. Ут-

ром он просыпался, сбрасывал брезент, умывался, кормил собаку, ел сам, а потом отрешенно, непрерывно работал до вечера, пережевывая макуху, не поднимая головы — изо дня в день — и не поднимал головы даже когда строил крышу, и они видели через невысокий, покосившийся забор, как он, согнувшись, торчал посреди двора, дробил воздух и свет частыми, мерными ударами топора, строгал, пилил, колотил, упрямый, враждебный, безмолвный, точно наполовину вбитый гвоздь, не замечая никого и ничего вокруг.

Кирпич, сухой цемент и прочий строительный материал ему поставлял старший брат, который работал главным инженером на кирпичном заводе, и потому в поселке лишь вяло удивлялись, следуя скорее укоренившейся привычке удивляться при виде того, что кирпич привозят без задержек, а также при виде качества кирпича. Если бы они знали, что старший брат берет с младшего двадцать процентов сверх государственной стоимости кирпича, готовый объяснить это тем, что дает в долг бывшему заключенному, они бы и вовсе перестали удивляться. Старший брат появлялся всякий раз, когда приезжал грузовик с кирпичом, и молча, невозмутимо наблюдал, как трое мужчин с завода, которые приезжали по его просьбе или указанию, обливаясь потом, разгружают кирпич, а младший брат складывает его широкими, невысокими стопками; невозмутимо стоял в стороне приземистый, несколько толстоватый для своего роста — полная внешняя прогнвоположность младшему брату — с обрюзгшим желтоватым лицом, на котором поверх приплюснутого, широкого, точно каблук, носа блестели, отражая свет, стекла очков. После разгрузки старший брат доставал лист бумаги и карандаш, а младший,

присев на кирпичи, писал долговые расписки; старший невозмутимо засовывал их в карман пиджака и молча уходил со двора, а за ним под бешеный лай собаки, посаженной на короткую цепь, гремя обтрухан-ными бортами, выезжал грузовик. И лишь один раз они перемолвились словом; мужчины, разгрузившие кирпич, слышали, как старший брат презрительно сказал — угомони своего кобеля; и тогда младший приоткрыл на мгновение шлюзы своей души, где клочкотали запертые водовороты холодной, чистой, бесправной ненависти, и сказал ему сквозь стиснутые зубы — он на то здесь и посажен, чтобы брехать, когда по двору ползают гады.

В начале декабря выпал первый снег, и он, не достроив дом, уехал; рано утром убрал двор, огороженный забором, собрал и сложил инструмент в наспех сколоченный сарай, закрутил калитку проволокой и неспешно, размеренно зашагал по поселку, сжимая в одной руке завязанный веревкой рюкзак без лямок, куда сложил остатки провизии, а в другой — натянутый серой собакой двухметровый кожаный ремень, на конце которого позвякивал тусклый карабин, прикрепленный к широкому грубому ошейнику. Он пошел на станцию пешком, хотя каждое утро туда ходил автобус — железный, дребезжащий ящик с выбитыми стеклами, замененными кое-где фанерой, взгроможденный на полуспущенные колеса, протекторы которых были гладкие, как куриные яйца; когда он проходил мимо магазина, где стоял автобус, толпа посельчан расступилась перед ним, ибо они были уверены, что он не станет ломать линию своего пути в угоду кучке людей, потому что было в нем нечто непонятное, что заставляло его двигаться по невидимым рельсам судьбы с

ледяным, но ненавязчивым презрением совсем иначе, чем двигались они сами; и когда он молча прошел между ними, ветер донес до них запах свирепой сырости.

В полдень того же дня инструмент, который он спрятал в сарае, извлекли и увезли на грузовике двое мужчин с кирпичного завода.

Недостроенный дом стоял под снегом всю зиму, как нечто запретное, отталкивающее, словно гибельная священная гора, и каждый житель поселка, ревниво лелея негласный запрет, оберегал недостроенный дом от любых посягательств, не позволяя играть в нем детям, не позволяя бродягам использовать его для почлега. И лишь один-единственный раз за эту зиму холодные кирпичные стены недостроенного дома послужили укрытием от ветра старому тщедушному бичу, чьи длинные седые волосы шевелились от насекомых, а одежда стояла колом, потому что в самой одежде было меньше тканой материи, нежели цементной пыли, блевотины и испражнений, смоченных потом скитаний в пору тепла, а ныне превращенных морозом в ледяной хрустящий панцирь, из которого уже невозможно было выбраться, не прибегая к помощи пилы или жаркого огня. Но стоило ему лечь лицом вниз, прикрыв голову худыми дрожащими руками, чтобы унять вой ветра в ушах и защитить лицо от снежной пыли, влетающей через пустые оконные проемы и разверстые арки будущих дверей, как жители поселка, оповещенные каким-то мальчишкой, вооружившись отточенными лопатами, вилами и цепями, двинулись к недостроенному дому, ведомые странным непонятным долгом, который наполнял все их существо тихим настойчивым гулом раскаленной электрической спирали. Однако едва они приблизились к покосивше-

муся забору, те, что шли в первых рядах, резко остановились, не осмеливаясь переступить красную черту запрета, пылавшую в их сознании, и лишь гикали и орали, размахивая руками в брызгах крика. А когда тщедушный бродяга вылез из дверного проема, неуклюже двигаясь в своей задубевшей одежде, точно в бетонной трубе, подогнанной под туловище, все еще не проснувшись окончательно, так что его водянистые глаза были прикрыты бледными, тонкими, как плацента, веками, а уши заложены ветром, они вдруг разом замолкли и застыли, как если бы неожиданно окаменело пламя, окаменели многочисленные искры на той высоте, какой успели достигнуть до того как окаменело в тишине само время. А затем один из них громко заорал — вот он! Вот он, мать-перемать! — и сразу звуки их голосов посыпались на бича вместе с камнями и кусками льда, которые им удалось выбить из промерзшей земли носками сапог и ботинок; и тогда он с трудом поднялся на ноги и, опутанный сетями усталости и полудремы, покачиваясь, неуверенно побрел в сторону болота к высоким темным вербам, преследуемый пронзительными криками и свистом льда.

Баскаков вернулся в марте следующего года. Первым его увидел слепой мальчик, который вставал обычно за час до рассвета, кожей предчувствуя утро и сидя у окна, опираясь на подоконник, заваленный спичечными коробками, на ощупь мастерил из спичек игрушечные храмы. Он увидел его накануне мартовского праздника, в шесть часов утра идущего по весенней грязи в фосфоресцирующих сапогах, голенища которых были опущены или обрезаны почти до самых щиколоток; в одной руке он держал рюкзак без лямок, а в другой кожаный ремень, натянутый серой собакой.

Мальчик выронил спички и, испытывая жгучую боль в глубине незрячих глаз, молча, неотрывно, жадно смотрел вверх купола педоконченного спичечного храма на черную нестигаемую спину, на черный, несокрушимый мужской затылок, похожий на тяжелый колокол, и смотрел, изнемогая от яркой боли, до тех пор, пока мужчина и собака не растворились в привычной тьме двухгодичной слепоты.

В шесть часов утра, седьмого марта, он сорвал с калитки проволоку, посадил собаку на длинную ржавую цепь и некоторое время стоял около собачьей конуры, похожей на разваливающийся черный гриб, источенный муравьями, а затем, не переодеваясь, не осматриваясь, ничего не проверяя, взялся за работу, принявшись выметать из недостроенного дома мокрый хлам и сор, нанесенный ветрами за зиму. Этим летом он работал не один — каждый день ему помогали несколько мужчин с кирпичного завода, и почти каждый день к нему приезжал старший брат с клочками бумаги и огрызком карандаша, задерживаясь ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы получить очередную долговую расписку, определяя единолично стоимость строительного материала и рабочей силы, которая ему самому ничего не стоила, потому что дом помогали строить главным образом проворовавшиеся штрафники, желавшие по-доброму уладить дело — между тем главный инженер, он же председатель местного профсоюзного комитета, способствовал тому, чтобы мастера проставляли им в табеле рабочие дни, дабы они получали заводскую зарплату наравне с теми, кто сортировал кирпич; но если за использование рабочей силы старший брат брал с младшего сравнительно недорого, сопоставляя, видимо, суммы в долго-

вых расписках со средней заводской платой сортировщика кирпича, то за строительный материал — в поселке подозревали, что материал также ничего ему не стоит — он брал втридорога, должно быть, применяя на деле систему компенсационных пошлин, уподобившись тем торговцам, которые хотели установить компенсационную пошлину на творог из молока коровы, выращенной на ферме, с тем чтобы творог был столь же дорогим, как строительство всей фермы; понимая, что хитрости эти никого не обманывают, старший брат, тем не менее, не моргая, хладнокровно прятал долговые расписки в карман, садился на мотоцикл и ехал к нотариусу для их заверения, ничуть, казалось, не заботясь о том, что может стоять за молчаливым согласием младшего брата, который никогда ничего не проверял, не пытался что-либо оспорить, не обращал внимания на цифры и буквы, которые выводила его рука на клочках бумаги так, словно они не имеют к нему никакого отношения.

Дом был полностью закончен в середине сентября; кроме того, он сколотил из добротных брусков и досок два крепких сарая, предварительно свалив и разобрав сарай, сколоченный наспех, сколотил новую конуру серой собаке и разбросал по двору три машины белого речного песка. И тогда, не погрудившись отряхнуться от стружек и побелки, не потрудившись выбриться или хотя бы соскоблить коросту с угрюмого лица, он пришел на телеграф и отправил в Джекказган телеграмму с одним словом — «Приезжай», — расплатился и, не сказав ни слова, вышел; полная телеграфистка сказала — хоть бы голос подал, дьявол окаянный; та, что принимала телеграмму, сказала — вы ж слышали, я его спрашивала, спрашивала, а он или кивнет или головой

могнет; третья сказала — кому это он телеграмму послал?; та, что принимала телеграмму, сказала — Баскаковой — и сказала — жена, наверное, а может, сестра; полная сказала — откуда у него жена, у дьявола окаянного; та, что принимала телеграмму, сказала — но ведь его фамилия Баскаков; третья сказала — я и фамилию-то его первый раз слышу — а потом сказала — скоро увидим; а полная сказала — еще не скоро — и сказала — Джекказган далеко.

Его жена и дочь приехали в начале октября. До их приезда он успел закупить кое-какую мебель: стол, стулья, кровати, пару тумбочек и уцененный шкаф с этажеркой для посуды впридачу — так что стало ясно, что деньги были у него с момента приезда и что он просто не пожелал расплачиваться за строительный материал наличными, предпочитая писать долговые расписки; кроме того, в одном из сараев смастерил перегородку из необтесанных жердей, разбросал сено и купил свинью, в тот же день, когда разбросал сено и поставил грубо сколоченную кормушку, хотя мог купить свинью дешевле два дня назад у соседа, но не купил, потому что не было кормушки, которую он сколотил за час, и не было раскидано сено, которое он раскидал за пять минут. Когда минуло две недели со дня отправления телеграммы, он стал приходить по утрам к магазину, куда подъезжал автобус со станции, и молча, ни с кем не здороваясь, стоял левее входа в магазин, надвинув на брови войлочную шляпу с широкими, загнутыми полями, покусывая желтую соломинку, чисто выбритый, прилично одетый, в тщательно вычищенных ботинках — таким его никто не видел, и те, кто шел, намереваясь заглянуть в магазин, улыбались ему на всякий случай, полагая, что человек этот изме-

нил свою сущность, как изменил внешность, но, попадая в критическую зону радиации, которую излучала его личность, они, как прежде, чувствовали путаницу в мыслях и необъяснимую слабость во всем теле, словно живые волокна мышц оказывались расклеенными, более не связанными между собой, точно каскад сухих волос или развязанный сноп пшеницы, и на ватных ногах спешили покинуть круг пагубного воздействия неподвижной фигуры, застывшей в невозмутимом ожидании. Он приходил к автобусу два дня, и лишь на третий они приехали. Пропустив всех пассажиров, чтобы не мешать им своими вещами, они сошли с автобуса последними — высокая, стройная женщина с бледным красивым лицом в белом платье — просто поразительно — сказал школьный учитель, который при этом присутствовал, оказавшись единственным мужчиной, кому она одним своим видом не высушила язык — просто поразительно, — сказал он — как это можно выйти такой чистой и красивой из этого ржавого пыльного корыта; следом за женщиной сошла миловидная девушка лет четырнадцати-пятнадцати, в бежевой юбке, коричневой блузке и пестром платке, повязанном на подбородке, скрывавшем щеки до уголков нежных розовых губ. Девушка несла набитые до отказа сумки, а стройная женщина два потертых чемодана; тогда учитель шагнул к женщине с явным намерением ей помочь, но столкнулся взглядом с миловидной девушкой и, столкнувшись с ней взглядом, явственно услышал резкий хрустальный звон, как при столкновении двух стеклянных предметов; он повернул голову к женщине, но вдруг оказался в положении человека, собравшегося шагнуть вперед, но неожиданно остановленного натянутой на шею петлей, и тогда он посмотрел на девушку, ибо она нахо-

дилась в той стороне, где брала начало невидимая веревка крепкой петли, и увидел, как она медленно покачала головой, указывая глазами на неподвижную фигуру мужчины в войлочной шляпе, который ожидал их приезда три дня, а дождавшись, не тронулся с места; и женщина с двумя чемоданами двинулась прямо к нему. Только тогда до жителей поселка дошло, что это и есть его жена. Школьный учитель сказал — да — сказал, потому что сказать что-либо было просто его делом, потому что он один умел говорить грамотно в силу своей профессии, и сказал — надеюсь, хотя бы она слышала звук его голоса — а потом сказал — хотя бы до свадьбы. И все же, убедившись воочию в том, что жена его — мало того что существует, но молода и красива, они готовы были обвинить во всем собственное зрение, сыгравшее с ними столь нелепую шутку, потому что иначе, как спящего на голой земле рядом с грязной серой собакой, они его не представляли; кроме того, им не давал покоя вопрос, чувствует ли эта женщина то же, что чувствуют, приближаясь к нему, они сами, или, быть может, она сумасшедшая и путаница в мыслях естественное ее состояние, а всеобщая слабость в теле — следствие иной болезни, которую некогда можно было вылечить, если бы не постоянное тесное общение с ним, сделавшее эту болезнь хронической. Пока они напряженно думали, теряясь в догадках, школьный учитель, не переставая жевать яблоко, говорил — сейчас они домой придут и она ему мучную болтушку сделает — и говорил, задумчиво глядя им вслед — я видел, он вчера муку купил; кто-то сказал — так выходит, она сумасшедшая, что ли?; учитель сказал — она не сумасшедшая — и сказал — выходит, это мы сумасшедшие. Только они ему не поверили и собира-

лись что-то возразить, все разом, но увидели, что учитель не станет их слушать, может, потому что он не местный; а они — сама земля, и им, как самой здешней земле, есть дело до всех, кто по ней ходит. Смотрели им вслед, а они шли по пыльной дороге, выложенной стертým булыжником, а потом свернули на грунтовку, где пыль, густая и мягкая, как мох, делала шаги бесшумными, и пошли к новому дому, чтобы жить там по милости старшего брата, и впереди шла, угадывая дорогу, дочка, удивившая всех своими желтыми, точно перебродивший мед глазами, способными удерживать человека крепче петли. Потом они часто видели их, но уже без Баскакова, который мог преспокойно пройти мимо жены или дочери, повстречавшись с ними на улице в районном центре, не сказав ни слова — ему, видно, и в голову не приходило разговаривать с ними без особой надобности, лишь на том основании, что одна из них его жена, а другая его дочь, как всем остальным не приходило в голову разговаривать с темной колодца или запахом цветочной клумбы; но если они сами подходили к нему, стояли перед ним, желая что-то спросить, узнать, следует ли покупать в магазине то или иное, он иногда говорил, но так, словно и не говорил вовсе, а шевелил губами, и ни одна морщинка не укорачивалась и не удлинялась на его угрюмом, темном лице: если он и смотрел на них при этом, что случалось очень редко, по крайней мере, на улице, при посторонних, то смотрел так же, как смотрел на построенный дом, точно наравне с домом, только давно, строил их обеих, складывая кости и хрящи в скелет по имеющимся чертежам и рисункам, протягивая жилы, вены и мышцы, нагнетая кровь и грунтуя подделки кожей и теперь, благодаря ему, они имеют возмож-

ность двигаться, видеть, слышать, дышать, и ему не понятно, чего еще они от него хотят. Обе они были безусловно хороши и по самым строгим меркам не имели ни одного изъяна, если не считать следа ожога на правой щеке дочери; эту метку огня скрывала пестрая косынка, но старухи, уже после того как все об этом узнали, принялись утверждать, что цвет ее глаз сразу выдал то, что скрывала косынка, потому что стоит огню коснуться лица ребенка в ту пору, когда глаза еще способны менять оттенки, они на всю жизнь становятся желтыми и озаряют сны бледным, лимонным светом пожаров.

Старший брат приходил к Баскакову пять раз в течение полугода и невозмутимо требовал выплаты денег по долговым распискам, ровным, бесцветным голосом угрожая начислением месячных процентов; визиты эти начались через три месяца после того, как Баскаков устроился на работу, и лишь в пятый свой приход старший брат заявил, что через два месяца вынужден будет подать в суд, востребовав законным путем выплаты денег по долговым распискам, а потом, что называется, пустит дом с торгов и получит, таким образом, причитающуюся ему сумму сразу после инвентаризационной комиссии от нового владельца; рассчитаться в срок, установленный старшим братом,— то есть за два месяца — было заведомо невозможно, и установил он этот срок, наверняка зная, что на таких условиях Баскаков вообще не станет начинать выплату, потому что это бессмысленно. И вот они сидели в одной из комнат нового дома друг против друга на новых жестких стульях, за новым круглым столом, покрытым клетчатой скатертью, на первый взгляд, беспмятные истуканы, а на самом деле все помнящие,

единокровные, непримиримые враги, всегда ставившие превыше всего холодную обоюдную ненависть, тщательно скрытую, глубоко спрятанную где-то в дуплах глазниц, тлеющую там в золе мятежа; сидели, глядя друг на друга. А потом Баскаков без всякого выражения, слегка растягивая слова, сказал ему — я выплачу тебе все сполна, но за два года, как договаривались; старший брат сказал — в расписках никаких двух лет не числится — и сказал — деньги мне нужны срочно; Баскаков сказал — я выплачу тебе сполна, но за два года — и сказал — за два года, запомни — а потом, все так же, без всякого выражения, словно не говорил ничего, просто шевелил губами, сказал — ну, а если ты подашь на меня в суд, я тебя убью.

Однако пятый визит старшего брата положил начало серьезным раздумьям, а затем наступило нечто вроде прозрения, которое, впрочем, ни к чему не привело, просто не могло привести ни к чему действительному, по крайней мере, в данный момент, кроме того, что Баскаков, сидя на крыльце в полночь, понял вдруг, что его старшему брату не нужны деньги по долговым распискам — то есть он бы, конечно, не отказался их получить, если бы придумал, как содрать, но главное для него был даром построенный дом, записанный на чужое имя, Баскаков же был использован, как подсадная утка, фиктивный хозяин, лишить которого собственности можно было в любое время, потому что он оказался в положении человека, юридически уязвимо-го, точнее, беспомощного, припертого к стенке долговыми расписками. Старшему брату нужен был дом — иных побуждений выдвигать заведомо неисполнимые требования Баскаков не видел; что же касается прибавления двадцати процентов сверх государственной сто-

имости строительного материала — это был, по всей вероятности, отвлекающий ход, при помощи которого старший брат хотел уверить Баскакова в своей личной финансовой заинтересованности, не столь очевидной без этих двадцати процентов прибыли, потому что никто не мог знать точно, платил ли он собственные деньги за строительный материал или приобретал его путем всевозможных махинаций, таких как обмен кирпича на шифер, доски, цемент, но это было уже не столь важно, как неважны были те цели и подцели, тайные надежды и темные намерения, которыми руководствовался старший брат, ибо для Баскакова все кончалось там, где кончались интересы Баскакова.

* * *

Это произошло летом, примерно через восемь месяцев после того, как ее матери вернули из поссовета паспорт с местной печатью и примерно через месяц после того, как ее, не получившую паспорт вообще, впервые увидели в обществе этого здоровенного парня, который жил в соседнем поселке и до недавнего времени работал грузчиком на маргариновом заводе, а уволившись, сразу устроился грузчиком на кирпичный завод. Причем встречи с ним, видно, были ей не особенно приятны, а может, она просто стеснялась своей левой щеки с отметкой огня, так или иначе, не она искала этих встреч, а встречаясь с ним по дороге домой из школы или же из кино, куда изредка ходила в компании своих сверстниц, которые при его появлении тут же оставляли их вдвоем, она, судя по бледному лицу — если женским лицам вообще можно верить — не испытывала ничего, кроме затаенной, тихой муки. Он же спокойно шел с ней рядом, высокий, широко-

плечий, с ног до головы закованный в непробиваемую броню могучих мышц, и не будь его рубашка распахнута на волосатой груди, можно было подумать, что если он и не закован под одеждой в латы, то уж бронежилет наверняка на нем; однако это было лишь первое впечатление, исчезающее при ближайшем рассмотрении, потому что вблизи было видно, как плавно и мягко перекачивается кожа на огромных мышцах, плавно и мягко, как вода в горных реках перекачивается через гладкие, круглые камни, и двигался он так же плавно и мягко, но в каждом его движении сквозила неукротимость воды, кажущееся спокойствие потока, бесследно исчезающее, стоило лишь руслу пойти под уклон. Ему было двадцать пять лет, но на вид можно было дать все тридцать; он никогда не доходил до ее дома, прощаясь метров за двести от него — как видно, он понял, что быстрее добьется своего, не противореча ее желаниям. Но как-то раз, когда молва о них уже вскипала горькой слюной на губах благонаправленных поселчан, он проводил ее до самой калитки и случилось то, чего она все это время опасалась, из дома вышел Баскаков и не спеша пошел прямо на них. Он открыл калитку и, не глядя на парня, со скупым, холодным любопытством обратил взгляд на дочь и молча, холодно разглядывал ее в течение долгой минуты, намереваясь, видно, решить, что́ обледенеет сначала — женщина или время, а потом спокойно сказал — ступай домой. Оставшись наедине с парнем, которому едва доставал до плеча и упершись взглядом ему в грудь, он вдруг поднял руку и темным, прямым, твердым пальцем ткнул парню в живот, продавив могучие мышцы так же легко, как висящую марлю, и без всякого выражения сказал — чтоб больше я тебя с ней не

видел — выждал немного, не убирая палец, а потом сказал — все.

Долгое время в поселке не могли уяснить, как этот парень, после предупреждения Баскакова, решился пойти на то, что сделал впоследствии с его дочерью в сосновом бору — он жил с ними на одной земле, питавшей их мускулы одинаковой силой и одинаковой усталостью, дышал с ними одним воздухом, вдыхая решимость и выдыхая нерешительность, пил ту же воду с привкусом травы, с привкусом корней и, однако же, решился посягнуть силой на существо, чья неприкосновенность была нерушимо обеспечена кровью Баскакова, его священным трудом шестнадцатилетней давности, наконец, призрачной печатью его собственности. Это произошло в полдень безоблачного, знойного августовского воскресенья, когда температура воздуха превзошла критическую температуру человеческого тела, когда жители поселка, чьи мозги закипали в черепной коробке, точно в герметически закупоренной кастрюле, ожидали непостижимого события, вроде того оранжевого миража, что посетил их небо пять лет назад в изнуряющей жаре такого же августовского дня, который затем во всех подробностях был описан в районных газетах края. И вот после того, как четырнадцатилетний пастух прогнал через поселок стадо одуревших от зноя коров, отказавшихся пасть, пиная их под ребра твердыми, круглыми пятками, они увидели, как дочь Баскакова со своим широкоплечим ухажером, презревшим запрет ее отца, скрылись в сосновом бору для серьезного разговора. А час спустя она уже бежала к поселку со стороны соснового бора, едва удерживаясь на негнущихся, перепачканных ногах, движимая, казалось, инерцией первого и единст-

венного толчка, порыва, в разорванном грязном платье со следами раздавленных черных ягод на спине, с кровоточащей царапиной на лбу и растрепанными волосами, в которых запутались куски коры, сосновые иглы и мох. В то время, как его изнасилованная дочь влетела в дом с твердым намерением никогда больше из него не выходить и рухнула там в потемках отчаянья, не пытаясь скрыть от матери того, что произошло, Баскаков, одетый по-осеннему, невзирая на чудовищную жару, не способную, однако, растопить внутренние залежи льда в его душе, надвинув на брови широкополую войлочную шляпу, устанавливал самодельные винтири в конце огорода, среди высоких болотных камышей и осоки; опускал винтири в глубокие узкие канавы, наполовину заполненные зеленой, гнилой водой, вырытые для того, чтобы болото не разливалось и не размывало насаждения на крайних грядках огородов в период весенних дождей, и мрачно сжав губы, думал о старшем брате. Нагибаясь над канавами в шорохе сухого камыша, чувствуя резкий запах тины и рыбы, он думал — что задумал этот сукин сын — и думал — понятно, что он что-то задумал, раз не появляется полтора месяца со своими погаными расписками. Он постоянно думал о нем с тех пор, как сидя на крыльце в полночь, после пятого визита старшего брата, понял, что тому нужен дом; и в раздумьях своих, в непримиримом одиноком ожесточении, пытался просчитать все варианты, все возможные пути, которые использует старший брат, чтобы лишить его дома, построенного на фундаменте пота и упорства, ни минуты не сомневаясь, что предстоит яростная борьба, тайная, скрытая от всех борьба двух единокровных существ, рожденных одной женщиной, давно умершей, но пред-

сказавшей эту борьбу — нечеловеческую борьбу, а скорее борьбу взаимоисключающих явлений — от одного мужчины, давно умершего, слышавшего ее предсказание, но не сумевшего разглядеть в детских играх сыновей проблеск едва уловимого, упорного сопротивления взаимному родству, которое они, став взрослыми людьми, не сумели скрыть даже при свойственной обоим замкнутости, неразговорчивости, и вполне возможно, объединились бы первый и последний раз, чтобы свернуть шею тому, кто открыл, огласил, представил на обозрение их кровное родство в этом поселке, куда они приехали каждый сам по себе в разное время.

Баскаков отсутствовал еще около часа, в течение которого его жена успела сорвать с дочери всю одежду и, смочив керосином, сжечь в печи, кроме того, она волоком вытащила ее из дома, помыла холодной водой, одела в чистое, повязав на голову косынку, скрывающую царапину на лбу и уложила в постель. Так что, когда Баскаков вошел в дом, он был встречен тяжелой, неподвижной тишиной, в которой, казалось, каждый звук принял бы видимые очертания, а крик вспыхнул бы огнем. Жене он ничего не сказал, а она молча накрыла на стол, и потом уже, когда он повесил на вешалку шляпу, вымыл руки и сел за стол, она, наливая в жестяную кружку парное молоко, сказала ему — наша девочка заболела; он только посмотрел на нее, приподняв одну бровь, продолжая молча жевать; она сказала — это все жара проклятая — и отвернувшись к плите, сказала — завтра все пройдет — и сказала — жара проклятая; он опять ничего не сказал, ел молча больше не отрывая глаз от тарелки, погруженный в мысли о старшем брате и она больше ничего не сказала. Потом он встал,

отодвинув тарелку, и прошел в другую комнату, где под легким покрывалом лежала их дочь; на секунду задержавшись в дверях, но увидев, что она не спит, подошел к кровати и, глядя на белое, изможденное лицо, протянул темную руку, положил ладонь ей на лоб и едва шевельнув губами сказал — температуры нет — и спросил — что с тобой?; а она сказала — ничего — и, совладав со спазмами в горле, сказала — ничего — и сказала — голова болит; он убрал руку и сказал — спи; тогда она покорно, устало закрыла глаза, но лишь он вышел, ее глаза открылись.

А потом, уже под вечер, когда его жена благодарила бога за то, что подходит к концу этот проклятый день и просила, чтобы темнота ночи лишила всех памяти, к Баскакову пришел старший брат. Минут пять они тихо разговаривали, стоя у окна друг против друга, потом старший брат, увидев жену Баскакова, спросил ее — что с вашей дочерью? — и ровным голосом спросил — что-нибудь случилось?; а она ему сказала — ничего, она спит — и сказала — нездоровится, ничего страшного — а потом сказала — завтра все пройдет; старший брат неотрывно смотрел на нее, а потом спросил — да? — и смотрел на нее, и еще раз спросил — да? — и сказал — ну, хорошо. Как только дверь за ним закрылась, она чужим, мертвым голосом спросила Баскакова — зачем он приходил, зачем? — и спросила глухо, неуверенно — что он тебе сказал?; Баскаков сказал — он сказал, чтоб я не спешил с выплатой по распискам, сказал чтоб за три года выплатил — и хмуро сказал — чтоб не спешил; тогда она схватила его за рукав пиджака и, заглядывая ему в лицо, почти шепотом, судорожно выдыхая застревающий в горле воздух, спросила — и больше ничего? — и спросила — больше ничего?; он сказал — больше ничего.

Между тем, в поселке ждали, что будет, вернее, как это будет, уверенные в том, что это будет; бродили в замкнутом кругу ожидания, глотая раскаленный воздух августовского дня, ставший единственной пищей этого воскресенья для большинства из них, а сосед Баскакова, вознамерившись, видимо, разорвать замкнутый круг посредством физического действия, в тот же день зарезал черного козла, содрал с него шкуру, освободил кости от мяса и сухожилий и сложил кости в холщевый мешок, а когда жена испуганно и возмущенно спросила, зачем он это сделал и для чего ему понадобились кости козла, он мрачно сказал — в могилу той сволочи — но и, проделав все это, он вынужден был признать, что ему так и не удалось разорвать замкнутый круг ожидания, не удалось даже его покинуть; и по мере того, как воскресенье погружалось в горячую темноту ночного времени, они все чаще спрашивали себя, уж не приснился ли им этот день, не был ли он сном — предостережением. Однако, когда глубокой ночью, школьный учитель, терзаемый бессонницей, обычной для людей творческого склада, встал с ненавистной кровати и, плеснув в стакан розового портвейна, чтобы успокоить разгулявшиеся нервы, пил его, стоя у окна, он увидел вдалеке тускло светящуюся точку, мерцающую где-то у соснового бора, но поначалу не придавал этому значения, так как решил, что это лампочка на водонапорной башне, но вскоре заметил, что точка эта мало-помалу растет, движется по направлению к поселку со скоростью бегущего человека; и в траектории движения светящегося тела ему почудилось нечто знакомое, нечто виденное им совсем недавно, а потом он с ужасом начал разбирать очертания бегущей женской фигуры, мерцание стройных ног

и рук, мерцание развивающихся волос, а затем светящийся фантом женского тела в натуральную величину промелькнул мимо его дома, точно так же, как промелькнула в полдень дочь Баскакова в своем грязном, разодранном платье. И тогда школьный учитель нашарил на подоконнике спички, зажег трясущимися руками одну из них и зажмурившись от боли, погасил ее об язык, твердо уверенный, что немедленно проснется, но когда он открыл глаза, оказалось, что он всё так же стоит у окна, глядя на стакан розового портвейна, со спичками в руке, обожженным языком и привкусом серы во рту.

И только утром всем, наконец, стало ясно, что жене и дочери Баскакова удалось каким-то образом скрыть от него происшедшее, ибо им и в голову не приходило, что он мог знать все, ничего при этом не предприняв; и тем же утром старик Пал, с юношеской резвостью продиравшийся сквозь тернии великого множества лет, обманывая смерть своим запахом — маленький, тощий, иссохший, точно саксаул, не верящий в нерушимость такой геометрической фигуры, как круг, пошел прямо к его центру. Он пришел на лесопилку, где работал Баскаков и выложил все, что ему было известно, в неподвижное, темное лицо, а затем, не дожидаясь ответа, пошел обратно в поселок, чуть не столкнувшись у пилорамы с дочерью, которая несла Баскакову обед. И стоило ей лишь взглянуть, мельком посмотреть на темное, неподвижное лицо отца, чтобы увидеть то, что для всех остальных оставалось неизменным — едва уловимый серый налет слов, пыль правды, осевшую на лице, отчего почернели, словно нарисованные углем морщины. И он несколько мгновений смотрел на дочь, приготовившись идти, а потом

сказал — так — и сказал — так — а потом не спеша зашагал между досок, уложенных штабелями, прочь с территории лесопилки.

Он уходил вверх по холму — она даже не могла себе представить отца, идущего вниз — не спеша, размеренно, по темной жесткой траве и каждый его шаг был точным повторением предыдущего и по его затылку она видела, что он смотрит вперед, но не выше своей головы, как если бы выше ничего не было, а было лишь ниже и очень редко вровень; и в этом извечном, неистребимом, неспешном движении, в этой размеренной, сосредоточенной походке не было и тени упрямства, желания куда-либо придти или от чего-то уйти; она думала — разве можно это остановить, разве можно предотвратить приход, появление этого; он уходил вверх по холму, вдавливая в землю жесткую траву своими чугунными ступнями; и ей казалось, что точно так же он способен идти через лес, не сгибая деревьев, а просто уничтожая их своей тяжестью, не оставиваясь при этом ни на секунду, не так, как это делала бы стальная, многотонная машина, оглашая окрестности надрывным ревом, пробуксовывая в рыхлой земле, а так, как делал бы это полутораметровый, безмолвно движущийся предмет, наделенный весом планеты.

Он подошел к проходной кирпичного завода за полчаса до окончания первой смены, когда дождь уже начался и неподвижно стоял в стороне, под цветущей акацией, надвинув на брови широкополую шляпу, бесстрастно покусывая тонкую, желтую соломинку, нацелив глаза на обшарпанную дверь проходной, чуждый не только нетерпению и гневу, но самому ожиданию, наблюдал, как первая партия усталых подвыпивших

рабочих, лениво перебрасываясь репликами, выходит с завода; не обращая на них внимания, все так же беспрестрастно ожидал, глядя на проходную под мелким, набирающим силу дождем — одинокий перст возмездия; и это было лишь продолжением, длением той размеренной, нескончаемой работы, которую он начал в ту минуту, когда вознамерился построить свой первый дом, продолжением той непреклонной линии поведения, которую избрал, будучи подростком и вследствие которой совершил преступление, но увидел в нем лишь логичную развязку ситуации, и лишившись первой своей свободы, лишился первого построенного дома.

А потом тот парень вышел через проходную — высокий, здоровый, с загорелым, обветренным лицом в линялой желто-белой солдатской куртке, с темно-зелеными следами от сорванных погон на могучих, покатых плечах, и, как только увидел Баскакова, руки его скрылись в карманах штанов, а затем одна рука извлекла и впихнула в маленький, как пупок, рот длинную папироску, потом появилась другая со спичками: стоя под козырьком проходной, он прикурил и, отвернувшись от Баскакова, шагнул под дождь. Тогда Баскаков, не изменив позы, не выплюнув соломинку, прилипшую к нижней губе, громко сказал — эй, парень, — и это было все, что он сказал; затем развернулся на каблуках и, не оглядываясь, пошел вперед, слыша за собой звук шагов. А тот, уже на ходу спросил его — куда?; тогда Баскаков остановился, едва приметно кивнул головой влево и сказал — к той вон птицеферме; а тот спросил — а потом? — спросил, стараясь разобраться в выражении пустых безучастных глаз, глядевших на него из-под широких полей черной войлочной шляпы, холодных непроницаемых, как стальные за-

клепки, в которых отсутствовала не то что малейшая искра жизни, но даже ее отражение, и тот снова спросил — а потом?; Баскаков сказал — а потом увидишь кое-что новое — и пошел вперед. Продравшись через густые, мокрые заросли бурьяна, крапивы и диких цветов, они поравнялись со старой телегой, лежавшей на боку посреди небольшой, почти квадратной пустоши, усыпанной битым кирпичом, и парень, остановившись, сказал — дальше не пойду — и сказал — нечего топать, аж до самой птицефермы, здесь все и обговорим — и, принявшись раскачиваться на носках, растянул, словно высверленную дырку рта в узкую, маленькую улыбку, все еще полагая, что они пришли сюда драться, все еще веря в нестигаемую силу своих рук и хребта, раскачивался на носках под теплым дождем, какой бывает в пору позднего лета и не несет прохлады, быстро превращаясь в душный, влажный пар; раскачивался на носках, глядя на Баскакова сверху вниз, с трудом сдерживая беспощадную, разрушительную силу своих мышц, едва не рвущих одежные швы, сдерживая взрыв своего огромного тела, способного, казалось, смести без прикосновения неподвижную маленькую фигуру в широкополой шляпе одним лишь сотрясением. Он перестал раскачиваться на носках в ту секунду, когда услышал вдруг резкий щелчок, какой могут издать сильные, твердые пальцы, требуя внимания, но он знал, что это не пальцы, и он услышал щелчок не слухом — уши здесь были не причем, и даже если бы они были наглухо заткнуты деревянными затычками винных бочек, он услышал бы этот щелчок кожей, как слепой мальчик шаги рассвета — и кожа впустила звук во внутреннюю темноту, и он проник беспрепятственно, словно излучение, парализовав все движения живого орга-

низма и по узким, отполированным кровью каналам, беззвучнее тока побежала смерть; а потом уже, на долю секунды, он увидел четырнадцать сантиметров блестящей, не тронутой дождем стали, бравшей начало в темном кулаке.

* * *

Баскаков пошел в сторону поселка через сосновый бор, наполненный шумом дождя, чувствуя ногами мягкую, податливую землю, слышал свист мокрой густой травы под носками сапог и думал о себе. Они догнали его в двухстах метрах от озера, там, где сосны уже редели, но были все такими же высокими и стройными, только со всех сторон мокрыми от дождя. Когда он увидел с ними старшего брата, он все понял, но не сделал ни одного лишнего движения, и выражение его темного, угрюмого лица, такого же неподвижного, твердого под стремительными каплями дождя, как панцырь черепахи, ничуть не изменилось, словно и не могло измениться, словно и не менялось с рождения, а только грубело под натиском солнца, времени, ветра. Они бежали к нему под дождем, петляя между мокрыми стволами сосен, а он, глядя на них, думал — так — думал — вот, значит, как ты решил вытурить меня из дома — и думал — так. Он знал, что теперь самое главное предупредить жену, чтобы она ни за что не покидала дом, главное сказать ей, чтобы она ни в коем случае не съезжала, не уезжала из этого дома, как уехала за ним, когда его посадили в первый раз, потому что, если в доме будет жить одинокая женщина с дочкой, ему не так-то просто будет получить этот дом, даже со своими долговыми расписками, потому что закон всегда на стороне женщины и ребенка, и он думал — вот о чем нужно было сначала думать, вот о чем — ду-

мал — знать надо было, что он следит за мной и этим парнем, что все рассчитано — думал — он-то знал, что я его убью, вот и держал трех легавых под рукой и сразу припустился по следу, сразу — думал, теперь он скажет ей, чтоб она съезжала и она съедет, да ему и говорить ничего не надо, она и так съедет, как в тот раз, потому что я-то ей ничего не сказал. Как видно, тот факт, что он убил парня, был для них бесспорен: они даже не спросили, он ли его убил. Он стоял между двумя милиционерами перед молодым энергичным лейтенантом у высокой сосны, чувствуя ногами мягкую податливую землю; на старшего брата он не смотрел, а смотрел на лейтенанта. Лейтенант сказал — чего смотришь? — лейтенант был при оружии; он сказал лейтенанту — мне нужно повидаться с женой — и сказал — на одну минуту; лейтенант сказал — нет; он сказал — мне нужно повидаться с женой; старший брат сказал — еще чего; лейтенант сказал — на суде повидаетесь; он без всякого выражения сказал — мне нужно увидеть ее на одну минуту; лейтенант молча посмотрел на старшего брата, а тот ровным голосом сказал — он убил человека; тогда лейтенант сказал — давай, пошел — и сделал знак милиционерам и они взяли его за руки, чуть повыше локтя, но он не тронулся с места, а они не смогли его сдвинуть. По его неподвижному лицу медленно текли капли дождя, задержавшись на искривленных губах и скошенном подбородке. Он смотрел мимо лейтенанта, на старшего брата. Потом он облизнул холодные губы и сказал — ладно, паскуда; лейтенант посмотрел на старшего брата, а затем на Баскакова; ладно, паскуда — сказал Баскаков, глядя на старшего брата. Потом они повели его по мокрой траве. Он шел между ними и говорил — ладно, паскуда. Ладно.

ПРО ПАДЕНИЕ ПРОПАДОМ

1

За трое суток эшелон прошел тысячу восемьсот километров. Все были пьяны в стельку за исключением машиниста, но они его не видели. Во время долгих стоянок на запасных путях, перед большими городами, когда эшелон пропускал скорые и пассажирские поезда, они выходили из единственного плацкартного вагона — чаще всего ночью — и бродили между низкими, стальными платформами, на которых стояли уборочные машины, между высокими, товарными составами и цистернами с бензином, нефтью, битумом и природным газом; пытались продать местным тушенку, колбасу, сгущенное молоко или обменять на самогон; курили и разговаривали, понемногу трезвея на ветру; смотрели на железнодорожных рабочих, которые медленно двигались вдоль составов в ярких оранжевых комбинезонах, проверяя и смазывая буксы.

Никто не знал, а кто знал, давно забыл, как в вагоне оказался черный кот — они держались с ним очень вежливо, потому что это был черный кот — и тот, кто кормил его, отдавая лучшие куски, проникался убеждением, что никогда не слетит под откос, не будет искалечен в драке, не будет одурачен женщиной — а тот,

кто не кормил, ел, избегая смотреть коту в глаза. Кот переходил из одного плацкартного отделения в другое и черным шаром катался в ногах, а когда темнело, запрыгивал на столик, выгнув спину, пробирался между пустыми бутылками ближе к окну и сидел там ночами напролет — на него косо падал свет городов и зажигал в глазах хищный, желтый огонь, а потом, когда города и станции оказывались позади, он неподвижно сидел, погруженный во мрак ночных лесов и полей.

Каждый вечер, задевая торцы полок, по вагону бродил пьяный проводник и беспрерывно бормотал: «Света не будет. Света не будет. Не будет».

Сперва они говорили, что проводник — продолжение несчастий, проводник, как глава государства, а потом перестали обращать на него внимание. А проводник нередко говорил: «Вот я,— говорил он.— Сорок пять суток — свинья, сорок пять суток — король».

Утром они просыпались — грязные, небритые, опухшие — шевелили пересохшими губами, силясь выговорить проклятие, воспаленными глазами смотрели друг на друга и говорили — разбуди вот этого — не в состоянии позволить кому-то прятаться во сне от пропахшего табакком и потом вагона, от реального, чертовски медленного течения времени дольше, чем прятались они сами.

Первым всегда просыпался Шадрин — один из немногих, кто умывался,— крупный, смуглый мужчина сорока трех лет, угрюмый и неразговорчивый, точно полковник, положивший костями весь полк — в ярости его взгляд затыкал рты лучше, чем деревянный кляп. Его не любили — слишком много в нем было от большого, сильного быка, который в молчаливом бешенстве крутит головой и косит глаза в поисках того, кому предначертано его убить,— сторонились и поливали за

глаза, как поливают Иисуса Христа; его сторонился черный кот, кошачьим чутьем угадывая в нем пройденный этап.

Шадрин никого не будил, умывался, шел в тамбур, разжигал паяльную лампу, ставил ее под ржавый, колченогий таганок и варил себе экстракт куриного бульона, с таким расчетом, чтобы хватило на обед и ужин — в эшелоне он один, за исключением черного кота, ел три раза в день. Потом он передавал таганок и паяльную лампу тем, кто делил с ним плацкартное отделение — Брагину, Жигану или Раталову.

Паяльная лампа была одна на всех, и последние завтракали вечером.

На пятые сутки, когда они почти миновали Урал — высокие, серые сопки, пологие горы, застывшие под мохнатым шорохом вечнозеленых пихтовых лесов, красные каньоны, длинные, темные туннели, маленькие, белые домики на пологих склонах, настолько хрупкие и пезащищенные, что казалось их напрочь сметет звук человеческого голоса — у Шадрина открылось гнездо старой язвы.

Он тяжело ворочался на верхней полке, задыхаясь в плотном сигаретном дыму, точно привязанный к вертелю над костром, потом встал, ни слова не говоря, запихнул в рюкзак одеяло, несколько банок сгущенного молока, остатки сливочного масла, ложку, флягу с водой, спички и, дождавшись остановки, вышел из вагона — те, кто помогал пьяному проводнику наполнять резервуар для воды, видели, как он, согнувшись, угрюмо жвав бледные губы, залез на одну из стальных платформ и сел в свою машину.

Эшелон будет идти еще трое суток, часто останавливаясь на запасных путях, и все это время Шадрин

проведет в машине, лежа на жестком сиденье под тонким, дырявым одялом — смотреть на осенние леса, сквозь мутное стекло, залитое дождем,— коченеть от холода по ночам, когда сожжет весь бензин, а потом почувствует, что холод притушает боли в желудке и вспомнит:

Мальчишкой лежал за песчаным карьером, с переломанными ногами, на холодной, твердой земле и к нему привели толстую акушерку и шофера полуторки, они подняли его и понесли на дорогу, а шофер спросил — слышь, толстуха, почему он не кричит,— а акушерка сказала — потому что холодно — его кое-как посадили в полуторку и отвезли в больницу — он по-прежнему ничего не чувствовал и только в перевязочной, когда забинтованные от щиколоток до бедер ноги принялись обмазывать теплым мокрым гипсом, он захотел выть и захотел оказаться далеко в снегу.

И тогда, согнувшись на сиденье, Шадрин будет ждать ночного холода, который прекратит набег боли — засыпать, просыпаться, лежать.

Говорила вон та, старая карга — кто знает, как ее звали — говорила невнятно и тихо, точно воробей шелестел крыльями, морщила изжеванную мочалку лица — я принимала у нее роды — слушай меня, щенок — она валялась в доме старого профессора, в комнате с четырехметровыми потолками и старинной, резной мебелью, на высокой, роскошной кровати, металась у меня под руками мокрая и скользкая от пота, как лягушка, и всю ночь никак не могла, не могла, а под утро начала так орать, что с потолка осыпалась штукатурка, а в соседней комнате со стен падали старинные картины, и звенел хрусталь, потом начала ругаться — я ей сказала — не смей ругаться, сучка, он будет у тебя счастливым — а она, обливаясь потом и ругаясь на чем свет сто-

ит, заорала — еще бы! — и заорала — вытри мне сопли — в полдень она родила — ты выглядел так, точно тебя сняли со штыков — весь в крови, а под мышками и между ног было живое мясо — я держала тебя за левую ногу, а ты молча висел вниз головой — шлепала по тебе и не могла понять: жив ты или мертв. Потом, когда ты ожил и первый раз заснул на белом свете, мы слушали профессора, который под крики родов составил твой звездный гороскоп — и свет несуществующей звезды обещал наделить тебя могучим, ясным умом, оградить от войн, болезней и тюрем, обещал указать безопасный путь, легкую, беззаботную жизнь, красивых женщин, рожденных под знаками Стрельца, Девы, Овна, Весов и красивых здоровых детей. В то время я неплохо знала гороскопы и знала, что гороскоп, составленный профессором, — ложь от начала до конца — должно быть, он хотел заронить несуществующий гороскоп в твою несуществующую память — как руководство к действию — а твой настоящий звездный гороскоп не предвещал ничего хорошего — что же касается твоего древесного гороскопа, то в разделе о болезнях сказано следующее — тот, кто родится в рубашке — умрет при родах.

По утрам, съедая полбанки сгущенного молока и маленький кусок сливочного масла, Шадрин будет искать способ избавиться от голодных приступов — кусать губы, выкручивать пальцы на руках, колоть себя ножом — ложиться на спину и смотреть вверх.

В прошлом упрямый, злой, твердолобый — дед — тридцати шести лет от роду — вернулся с войны лунатиком, или как там еще можно назвать человека нормального днем и ненормального ночью — был тих и скромн, как свет, умолкал там, где висели иконы — а ночью — не просыпаясь — бесшумно вставал, движи-

мый темнотой, выходил в сад, выжигал сухую траву под орехом, конал землю, потом ложился на выжженную траву лицом вниз, скорчившись точно от колик в животе и говорил: «Ладно. Что я должен делать?» Потом он возвращался в дом, и волосы его пахли дымом, а руки свежей землей. Ему рассказали, что он вытворяет по ночам — сначала он ничего не понял, а когда понял, не захотел об этом говорить, но ему пригрозили психичкой — он долго курил, а потом, голосом чуждым боли и ярости, сказал: «У них просто не было времени захватить меня с собой — они бежали все дальше и дальше — нули освещали им дорогу — а я корчился на дне воронки с развороченным брюхом — запихивал горячие кишки обратно, матерился, рычал от боли и ярости, потому что знал — они не вернутся за мной — кусал губы, выкручивал пальцы на руках, колол себя ножом — рычал и матерился, потому что думал — жив до тех пор, пока сопротивляешься. Прошло много времени, прежде чем я понял, что убит — и тогда я смирился и понял, как глуп и как мелок, и тогда я поверил в бога и сказал ему: «Ладно. Что я должен делать?» Ярость и боль унес ветер, а часом позже они вернулись за мной. На улице залаяла собака — кто-то пришел. А бабка сказала: «Хорошо. А где ты будешь лежать по ночам, когда выпадет снег и исчезнет трава?» На мгновение лицо деда стало упрямым и злым, как до войны и до того, как он лежал в воронке и они вернулись за ним, а потом он внятно сказал: «Там же».

Дождь кончится перед Барнаулом.

Эшелон прибудет на место в двенадцать часов ночи на восьмые сутки, и Шадрин в ожидании утра, молча сопротивляясь голодным болям, пролежит под старым

одеялом еще семь часов, глядя через грязное стекло на тусклые станционные фонари и высокую темную арку разгрузочного крана, думая о том, что весь путь проделан зря.

Утром начнут разгружать машины и закончат только вечером. Распределят по деревням. Шадрин пригонит машину на стоянку и переночует со всеми лишь одну ночь. На следующий день его отвезут в районную больницу, где он пробудет два дня — возьмут анализ крови, анализ мочи, бактериологический анализ, какой берут у работников пищеблока — флюорографию — анализ желудочного сока, а потом его отвезут в Барнаул — проверят паспорт, командировочное предписание и историю болезни — анализ крови, анализ мочи, бактериологический анализ, флюорографию, анализ желудочного сока — но для перестраховки возьмут все анализы заново — будут делать уколы, ласково смотреть, подавать таблетки с руки, как собаке, кормить молочным супом, сырыми яйцами, молочной кашей, готовить к операции, оберегать сон.

Через пять дней его разденут, положат на тележку, накроют чистой белой простыней и повезут в операционную, большую и ярко освещенную, как банкетный зал, переложат на операционный стол, дадут общий наркоз, разрежут, посмотрят, зашьют и повезут обратно в палату. Ему ничего не скажут, а он скажет — можете говорить мне наплевать — тогда ему скажут — не пить, не курить, не есть острого, при язве нельзя, и потому подобное — а он вспомнит деда на выжженной траве под орехом и скажет — дело не в этом. Он пролежит в больнице еще три недели, боль оставит его, и он будет чувствовать себя, как сорок лет назад, когда все, кого он знал, были живы. Ему закажут билет на само-

лет. Перед отъездом он попросит у медсестры — той самой, которая два дня назад предлагала ему себя — карандаш и лист бумаги, она принесет, а он сядет около тумбочки и сначала нарисует нечто похожее на рыбу с хвостом, но без плавников, потом нарисует глаза на выкате и длинные усы, а потом большие, растопыренные клешни.

2

Вечером того дня, когда Шадрин ушел в машину, у них кончилась водка. Они ходили к проводнику, но проводник сказал — нет, у меня нет. Тем не менее, утром, шатаясь по вагону с мешком и собирая пустые бутылки, он был вдребезги пьян.

Некоторое время они бесцельно слонялись по вагону с иссушенными мозгами и желудками — говорили между собой — шершавые языки прилипали к гортаням, а глаза чесались, как после долгого, иступленно-го чтения.

Потом нашли веник. Выметали из-под полок клочки изорванных газет, огрызки яблок и огурцов, окурки и горелые спички, яичную скорлупу и пепел, осколки стекла, консервные банки, рыбы скелетики и куриные кости — вымыли все сковородки, миски, кружки, ложки, вилки, ножи — окончательно протрезвевшие, переворачивали простыни на постелях, спимали наволочки и пододеяльники, выворачивали паизнанку и паизнанку одевали — испытывая болезненное стремление к чистоте, брились и умывались, чистили одежду и обувь. Потом играли в карты, разговаривали, пили теплую, застоявшуюся воду.

Когда эшелон прибыл на место, все спали, за исключением Шадрина, который лежал на сиденье своей

машины, под старым, дырявым одеялом и смотрел на стационарные фонари и на темную арку разгрузочного крана.

Раталов первым выйдет из вагона и, проваливаясь по щиколотку в сухом белом песке, пойдет к небольшому озеру, в ста метрах от железнодорожной насыпи.

Платформы с машинами подгонят под кран, а вагон, в котором они ехали, отцепят. Они соберут свои вещи, вынесут и сложат под бетонным козырьком стационарного здания.

По распределению Раталов попадет в группу из шести человек, вместе с Жиганом, Шаровым, Брагиным и черным котом.

Они пригонят машины в небольшую деревушку в двух километрах от тока.

Их поселят в новом доме без отопления. Выдадут по два матраца и по два одеяла.

Утром следующего дня Шадрина увезут в больницу.

Черный кот уйдет переходить дороги.

Им покажут столовую — ветхий, покосившийся дом, пропахший пищевыми отбросами — пригласят войти, они войдут и увидят треугольный осколок зеркала на стене, пять больших столов, выкрашенных в зеленый цвет и один маленький, пестрые занавески на окнах, загаженные мухами; в углу за маленьким столом они увидят невысокого, беспалого гермофродита с широкими женскими бедрами и седой щетиной на подбородке и тарелку горохового супа перед ним. Раталов надолго запомнит его — сидящего за маленьким столом в углу, одинаково ненавидящего и мужчин и женщин, с презрением поедавшего суп ложкой, выгнутой на манер кочерги — запомнит обломок линейки, привязанный тугой резинкой к его запястью, и то, как

он вставлял ручку ложки между обломком линейки и беспалой ладонью.

Потом они пойдут в магазин, где торгуют пивом из бочек.

Пару дней уйдет на оборудование машин. Они забьют щели в бортах кузовов, чтобы не сыпалось зерно, а тем, кто согласится возить скот на убой, плотники поставят решетки из досок.

Потом пойдет дождь. Дождь будет идти в течение недели, и путевые листы закроют бездорожьем.

На второй день дождя к ним придет невысокая рыжая женщина с обветренным грубым лицом, в грязных резиновых сапогах и коротком желтом пальтишке и принесет пятилитровую банку с пивом. Она поставит банку на подоконник и сиплым голосом скажет: «Нате. Берите». Потом она скинет пальто и сапоги, нагло сунет маленькие ноги в тапочки Брагина, откроет банку, посмотрит на худого, длинного Баталова, покривит бледные обветренные губы, подмигнет ему подведенным глазом и скажет: «Кирнем, скелст?»

Нате-Берите будет приходиться к ним каждый день — приносить пиво, орать на них, обзывать малосильными, поливать грязью город, где они жили, бросаться всем, что попадет под руку — они примут ее за сумасшедшую, но ничего не скажут и не выгонят, потому что ни один нормальный мужчина в дождь не откажется от женщины и пива.

На четвертый день дождя Раталов, напившись в дым, встретит крупную, невозмутимую женщину с бесстрастным, загорелым лицом, длинными, черными волосами, тихим спокойным голосом и сумрачным взглядом. Он никогда не вспомнит, как они встретились и как он оказался у нее в доме — Жиган скажет ему,

что он вышел на улицу по нужде и не вернулся. Раталов проснется в маленькой, незнакомой комнате, под сумрачным взглядом невозмутимой черноволосой женщины. За вытянутой, отталкивающей рожей Раталова, перебитым носом, гнилыми зубами и скошенной челюстью, она сумеет рассмотреть его истинное назначение — творить добро, сумеет рассмотреть детскую способность верить в сказки, если их достоверно рассказать — способность, которую так и не успели вытоптать в нем другие женщины. Она накормит его и, убирая со стола, коснется грудью его затылка, а рядом будет крутиться ее смуглый семилетний сын, хитрый и злой, как самка.

На пятый день дождя Раталов соберет шмотки и перейдет жить к ней.

Он проживет у нее два месяца, в течение которых она ни разу ни о чем не попросит. Под ее сумрачным взглядом он починит покосившийся от дождя и ветра забор и выкрасит в синий цвет, не думая о том, что когда-нибудь краску смоем дождь, а забор разнесет ветер; одержимый стремлением делать навечно, одержимый ненавистью к самоуничтожению и жизни на износ и растлению до срока, возомнив себя художником эпохи Возрождения, своим появлением изгонит миражи заустения, спилит старую, изъеденную червями грушу и наколет дров на десять зим, поставит новую конуру облезлой собаке, а она бросится на него движением едва уловимым для глаз, на наэлектризованное движение василиска, но ее опрокинет цепь; укрепит готовый рухнуть сарай, на деньги за проданный бензин и привезенный соседям уголь купит ребенку кое-какую одежду, набор игр и плюшевых зверей, забьет полки погреба консервами, купит оранжевую и голу-

бую скатерти, купит вазу для цветов, расписанную танцующими фигурами, твердо зная, что чем бы все ни кончилось, эти дни будут лучшими в его жизни.

Изредка встречаясь с Брагиным и Жиганом, он узнает, что Шадрину сделали операцию, а потом отправили домой — забудет, погруженный в возрождение Возрождения, и вспомнит о Шадрине лишь один раз за два месяца, лежа на узком жестком диване рядом со спящей черноволосой женщиной, под картиной, на которой высоко в горах охотился леопард, в минуту, когда ночь будет бродить в нем, обкрадывая душу.

Потом, когда Раталов, рожденный творить добро, выйдет из тюрьмы и поймет, что покой и опустошенность — одно и то же, он будет часто вспоминать Шадрину, рожденного для тюрем и войн, истратившего чудовищные запасы силы и ярости на борьбу с самим собой и бесславно пораженного язвами и раком.

Вернувшись к прежней жизни, он вспомнит многое другое.

Они мало разговаривали между собой — он молча чинил, красил, укреплял, а она молча раздевалась, сумрачно глядя на него, и ложилась с ним в постель.

Он привез ей уголь, щебень, который потом смешал с цементом и укрепил порог. Привез овес и зерно, работая на элеваторе.

Впоследствии, когда соседям надоело смотреть, как невозмутимой, черноволосой суке достается даром то, за что они вынуждены платить, и кто-то заявил на Раталова, уголь и щебень сошли ему с рук, а овес и зерно расценили, как хищение государственного имущества, а продажу бензина, как спекуляцию государственным имуществом с целью личной наживы.

Они приехали за ним утром, в конце ноября, когда до отправки оставалось три дня — коренастый сержант, молодой лейтенант и высокий сутулый капитан в измятой как простыня, форме — и сперва зашли в дом невозмутимой черноволосой женщины и под сумрачным взглядом нашли двести килограммов зерна в четырех мешках и три мешка овса. Сутулый капитан пошевелил усами и спросил, сколько она заплатила; она сказала, что ничего не платила — и — сказала она — я ничего не знала об этом — и — сказала она — ничего не видела; сутулый капитан спросил — вы просили его привезти зерно?; она сумрачно посмотрела на него и сказала — я ничего у него не просила; значит, он прятал у вас ворованное зерно, чтобы потом увезти в Москву, кормить кур — протянул сутулый капитан; она сказала — не знаю; сутулый капитан спросил — где он?; она сумрачно посмотрела на него и сказала — не знаю; мальчик, где дядя? — спросил молодой лейтенант у сына черноволосой женщины, который крутился рядом, хитрый и злой, как самка; мальчик сказал — в...

Потом они подъехали к дому, где жили шофера, бросили машину на дороге и вошли. Кроме Жигана, который сидел на койке, зашивая рубашку, никого не было. Сутулый капитан спросил, где Раталов и когда он будет; Жиган посмотрел на них и сказал, что такого не знает, у них такого нет; сутулый капитан назвал городской номер машины Раталова и номер прицепа; Жиган сказал, что это не московские номера, а скорее всего минские или магаданские, и спросил — что, авария или сбил кого?; сутулый капитан сказал — нет — и остальным — пошли. Они увидели машину Раталова около магазина. Раталов стоял в очереди и разговаривал с Брагиным. Они зашли в магазин, назвали номер

машины и спросили, чья она; Раталов сказал — моя — а потом спросил — мешает?; сутулый капитан сказал — нет, ничего. Они подождали, пока Раталов купил хлеб и сигареты.

Потом они взяли его, и замершая на мгновение толпа местных баб, ожидавших очереди купить, а потом сожрать, загалдела и вывалила за ними из магазина во главе с толстой, красной продавщицей, оставившей вместо себя за прилавком желчную уборщицу, готовую взорваться от злости и любопытства, как созревший фурункул.

— ...господи...

— ...боже...

— ...мой...

— ...туда...

— ...ему...

— ...дорога...

— ...ворюга, зерна он хо...

— ...ей...

— ...и ей срок...

— ...Это тот, который зарезал свою жену и двух сыновей? — закричала глуховатая старушка, дергая продавщицу магазина за рукав.

— Нет, это...

— ...чинил, красил, крал зе...

— ...просил за двадцать литров бензина шесть...

— ...покупал у него, а?

— ...ст, не покупал, я чес...

— ...паскуда де...

— Это тот, который насиловал маленьких девочек за кладбищем? — закричала глуховатая старушка, дергая продавщицу магазина за рукав.

— Нет же, нет же, бабуля, он воро...

— ...открыто. Платила, как все, а он ей откры...
— ...стерве привозил зерно и о...
— ...позарился на п...
— ...уголь, щебень, овес, зерно...
— ...вазу для цветов и...
— ...мне машину угля за пятьдесят...
— ...скатерти — голубую и оран...
— ...прошу — дай щебенки, выстлать дорожку в огород, а он — червонец дав...

— ...одежду сопляку и плюшевых зве...
— Это тот, который вбил сосновый кол в живот сестры? — закричала глуховатая старушка, дергая продавщицу магазина за рукав.

— ...господи...

— ...и...

— ...в дождь...

— ...и...

— ...не в дождь...

— ...сделал...

— ...нас...

— ...сволочами...

— ...сволочами...

— Офицер, офицер,— закричала глуховатая старушка, в паутине старости путавшая день и ночь, деньги и газеты, мужчин и женщин,— проверьте, нет у него пистолета или ножа? Нет у него ножа?

Высокий, сутулый капитан гаркнул: «Хватит».

Раталов закрыл глаза, потом открыл, ожидая увидеть разрушенные дома, сгоревшие деревья, обуглившуюся землю и дым, но увидел лишь толпу людей и Брагина, который неподвижно стоял в стороне.

Раталова отвезут в Бийск.

Эшелон прибыл на место в двенадцать часов ночи на восьмые сутки.

В то время, как Шадрин лежал на сиденье своей машины под старым, дырявым одеялом и смотрел на стационарные фонари и темную арку разгрузочного крана, Брагин спал на верхней полке плацкартного вагона.

Брагина разбудили в семь часов утра. Он встал и не спеша собрал вещи. Потом он посмотрел в окно и увидел Раталова, который проваливаясь по щиколотку в сухом, белом песке, шел к небольшому озеру, в ста метрах от железнодорожной насыпи.

Платформы с машинами подогнали под кран, а вагон, в котором они ехали, отцепили. Они вынесли вещи и сложили под бетонным козырьком станционного здания.

По распределению Брагин попал в группу из шести человек, вместе с Жиганом, Шадриным и Раталовым.

Они пригнали машины в небольшую деревушку, в двух километрах от тока.

Их поселили в новом доме.

Утром следующего дня Шадрина увезли в больницу.

Им показали столовую — ветхий, покосившийся дом, пропахший пищевыми отбросами — пригласили войти, они вошли и увидели треугольный осколок зеркала на стене, пять больших столов, выкрашенных в зеленый цвет и один маленький, пестрые занавески на окнах; в углу за маленьким столом они увидели невысокого, беспалого гермофродита с широкими женскими бедрами и седой щетиной на подбородке.

Пару дней ушло на оборудование машин.

Потом пошел дождь.

На второй день дождя к ним пришла рыжая женщина с обветренным, грубым лицом, в грязных резиновых сапогах и коротком, желтом пальтишке и принесла банку с пивом. Она поставила банку на подоконник и сипло сказала: «Нате. Берите».

На четвертый день дождя Раталов, напившись в дым, вышел на улицу по нужде и вернулся лишь на следующее утро.

На пятый день дождя Раталов собрал шмотки и ушел от них.

Нате-Берите приходила к ним каждый день — приносила пиво, орала, обзывала малосильными, напивалась, поливала грязью город, где они жили, бросалась всем, что попадало под руку. Они приняли ее за сумасшедшую, но ничего не сказали и не выгнали.

Нате-Берите звала к себе, но они не шли.

Когда кончился дождь и немного подсохло, Жиган сделал первый рейс. Он под завязку заправил баки трейлера и поехал в Камень-на-Оби, за презервативами.

Потом он пошел к ней.

В течение следующей недели у нее побывали остальные.

Предпоследним к ней пошел Дюкин, которому было почти шестьдесят. Перед этим Жиган посмотрел на него и сказал — постарайся не расстраивать девочку. Дюкин скоро вернулся и сказал, что больше к ней не пойдет. Жиган спросил: «Почему?» Дюкин сказал: «У нее в постели пахнет смертью». Жиган засмеялся и сказал: «Во всех постелях пахнет одинаково. Это жизнь пахнет смертью».

Брагин пошел к ней последним.

Через два месяца, отгоняя машину на погрузку в Москву, Брагин слетит с трассы, ослепленный фарами

встречного рефрижератора и утопит трейлер в Кулундинском канале. Он выберется на дорогу, промокший насквозь и, вытирая кровь с разбитого лица, вспомнит Нате-Берите.

Брагин пришел к ней; не включая свет, она провела его в маленькую темную спальню.

Развела занавески на окне, и в спальню проник лунный свет.

Она подошла к нему.

Брагин смотрел на обветренное, грубое женское лицо, с морщинами у глаз, похожее на лицо уставшего лесоруба.

Она медленно разделась, и он увидел молодое, гибкое тело.

Это не она.

Это она.

Она легла.

Сейчас она скажет — иди ко мне.

Она сказала: «Иди ко мне».

Брагин разделся и лег.

В ее лице произошла мгновенная перемена — оно стало детским и подвижным — даже при лунном свете, который делает мертвыми живых.

Брагина коснулись прохладные женские руки.

Сейчас она скажет — мне плевать на всех остальных, я ждала только тебя. Не уходи никогда.

Она сказала: «Мне плевать на всех остальных, я ждала только тебя. Не уходи никогда». Она беспомощно и нежно смотрела на него, сглатывая слезы.

Брагин целовал ее, глядя в подушку.
Сейчас она спросит — ты любишь меня?
Она спросила: «Ты любишь меня?» И посмотрела на него умоляющими глазами.
Брагин сказал: «Да. Я люблю тебя».
Сейчас она спросит — очень?
Она спросила: «Очень?»
Брагин сказал: «Очень».
Очень, очень?
Очень, очень.
Сейчас она спросит — ты не бросишь меня?
Она спросила: «Ты не бросишь меня, нет? Не бросишь меня?» И посмотрела на него глазами, полными слез, воплощая в себе искренность монашки, безгрешие зародыша.
Они были одним пластом земли.
Все.
И тогда она лениво потянулась, повернулась к нему, насмешливо искривила бледные, обветренные губы и с издевкой сказала: «Хорошо».

Я ненави́дел этого парня. Мне выпало с ним служить. Каждый день видел его худое, нескладное тело, спрятанное под формой слишком большого размера, которую он мог снимать, не расстегивая пуговиц; его тяжелые, истоптанные кривыми ступнями сапоги со сбитыми каблуками без подков; узкие, как лопасть весла плечи; лицо, не уступающее в уродстве сгустку застывшей магмы — я хотел бы посмотреть на женщину, которая его родила и узнать, на каком месяце случилось это несчастье, но Брагин сказал, что лишь очень одаренные люди бывают настолько уродливы и болезненно слабы. А потом: «Глянь, у него голова на шее не держится, глянь, упала на бок, как у двухмесячного». А Монашка, который когда-то чистил клетки в зоопарке, сказал: «Волчья стая всегда уничтожает больного, малосильного волка, потому что в конечном счете его жизнь слишком дорого обходится здоровым и сильным».

Я ненави́дел этого парня, еще не зная, что он бывший пианист и фамилия его Венский.

Венский был направлен к нам из учебного подразделения радистов. Он пришел в роту в один из самых скучных вечеров, за час до вечерней поверки; молча

* Лагофталм — болезнь глаза: неполное смыкание век.

стоял посреди прохода между двухъярусными койками, опустив вещмешок и скатанную шинель на пол, потерянно озирался по сторонам, точно упал в яму и не знал, как выбраться. Взглядом беспокойным и испуганным прощупывал каждого и, наконец, увидел меня. Несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. Мои мышцы напряглись помимо воли. Я замер, словно готовился увернуться от ножа. Он улыбнулся и успокоился.

Венский повел себя, как человек, который в скором времени попросит в долг.

Во мне появилось бессознательное стремление держаться от него подальше. Я не знал, какого хрена он лип ко мне — в армии таких вещей не любят — быть может, он что-то чувствовал, быть может, он что-то видел во сне и его стремление быть рядом со мной было сродни стремлению слепого искать твердую тропу.

Он отчужденно бродил среди солдат — воздух хлюпал у него в сапогах — кривил лицо, морщил лоб под давлением глухой, ипохондрической боли — вынашивал реквием по одному из нас — смесь боли и музыки.

Мне не давало покоя его лицо. Гораздо позже я понял, что к этому лицу обращался по ночам, когда не хотел жить.

Он всегда был рядом со мной, виновато улыбался и пытался заговорить.

Я говорил ему: «Послушай, убери от меня свою рожу». Он стоял и виновато улыбался, точно ребенок перед тем как отнять.

Я не мог все время смотреть на человека, при виде которого испытывал желание бежать.

Я говорил ему: «Убери от меня свою ублиодочную рожу».

Но все было бесполезно. Он выбрал.

Я сильно изменился. Меня боялись, как боятся темноты и незасыпанных могил. Тем зарядом ярости, который накопился во мне, можно было взрывать мосты. Стал опасен — во мне ожил страх безмозглой твари перед человеком — держался настороже, видел опасность во всем. Был слеп перед врагом и чем дольше это длилось, тем яснее я понимал, что мой враг будет жить до тех пор, пока жив я, и умрет он лишь во мне, вместе со мной, но не вне меня.

В поступках этого тощего, слабого недопоска я был склонен видеть несокрушимую, упрямую точность магнитного компаса — жизнь, подчиненную безошибочному чутью, которое заставляло ноги ступать там, где никогда не разверзнется земля, нести тело в обход тысяч смертей и пьяных жизней; закрывать глаза там, где слепнут, уходить с места, на котором любой другой был бы раздавлен падающим деревом — точный, беспроигрышный расчет древнего инстинкта, утверждавшего в человеке глухую, болезненную веру в несравненное значение собственной жизни и в дар творить великое. Воспитанный в чистоте и безгрешии — боялся крови, блевал при виде чужой блевотины, не любил бездомных собак, но беспрельдно любил свою мать, которая оберегала и наставляла — мудрая самка человека.

Весной Венского положили в санчасть.

Окна санчасти выходили во двор нашей казармы. Когда бы я ни проходил мимо, за крестом оконной рамы торчала голова Венского. Он смотрел на меня, вцепившись в подоконник, кривил желтое лицо и беспокойно улыбался. Он выглядел очень плохо. Меня разбирало желание пуститься в пляс.

Движимый злобным любопытством, я ходил в санчасть и пытался прочитать медицинскую карту Веп-

ского, но кроме того, что он болен, ни черта в ней не понял — если бы обезьяну научили писать, зажав авторучку между ног, она бы писала гораздо аккуратней и понятней, чем пишут врачи.

Венского выписали через две недели.

Он пришел в столовую и сел за один стол со мной. Я медленно ел перловку, глядя на свои грязные руки. Венский достал где-то полбатона копченой колбасы, резал тупым перочинным ножом и раздавал тем, кто сидел за нашим столом.

«Будь ты проклят. Опять ты здесь», — зверел я. — «Будь ты проклят, паскуда».

Я протянул руку за хлебом. Венский быстро перегнулся через стол и положил кусок хлеба с нарезанной колбасой возле моей тарелки. Несколько секунд я смотрел на хлебницу, чувствуя, как мозг паливается густым соком ярости, а потом врезал кулаком по столу и смел его воющую колбасу вместе со своей тарелкой на пол. Все смолкли. Офицеров в столовой не было. Я встал и вышел.

С неба струился золотой песок солнечного света.

Я хотел быть один.

Я хотел быть один, как пять лет назад, когда лежал на берегу моря — пошел дождь, все собрали монетки и ушли — я остался на мокрой гальке и смотрел, как ветер поднимает над морем мелкие, соленые брызги, вытягивает смерч в стройную женскую фигуру и плавно ведет по волнам, точно в вальсе.

Но отсюда никто не уйдет, даже если с неба посыпятся кости.

В ту ночь я долго не мог заснуть — бредил — медленно двигались призрачные, белые пятна человеческих лиц, и постепенно число лиц увеличивалось и двигались они все

быстрее — миллионы человеческих лиц — миллионы, увековеченные в подвигах и позоре, в разврате и войнах историками — беспристрастными разносчиками лжи — страдали от холода, голода, малярии, бедности, безденежья, неполноценности, пьянства — но возносили благодарность богу — старались не высовываться, не подставляться, не воевать, не умирать — они — больные, здоровые, незаконнорожденные, сумасшедшие — хотели тихо и незаметно прошмыгнуть под солнцем, тихо и незаметно нарожать детей — бесшумная в движении толпа миллионов — время от времени один из них откалывался и кричал — стоп, не так — и был убит — раздавлен плитой зависти, отравлен лошадиной дозой бруцина, прошит пулей; пропал в лесу, куда отправился засвидетельствовать почтение судьбе.

Все кончается, когда готов начать.

Я очнулся — заснул — осыпалась исполинская стена лиц.

В пять утра проснулся окончательно, неподвижно лежал, слышал сопение, храп и скрип ржавых коечных пружин под сонными телами. Потом поднялся, одел сапоги, взял сигареты и пошел в умывальник. Курил, глубоко затягиваясь и смотрел в окно. Пахло густым раствором лизола и грязным бельем.

В умывальник кто-то зашел. Я оглянулся и увидел Венского. Он был в больших, измятых, черных трусах и в рваной майке, какие нередко попадают в партиях чистого белья из дивизионной прачечной. Виновато улыбался, всем видом выказывая сочувствие.

Белки его глаз были желтые, как нечищенные зубы.

Он сделал несколько шагов ко мне.

Я положил сигарету на подоконник.

Он кривил лицо, собираясь что-то сказать. Но мне было плевать на все, что бы он ни сказал. У меня появилась возможность сделать самое малое, что можно было сделать. Я подождал, когда он подойдет поближе и, не размахиваясь, резко ударил. Его голова мотнулась в сторону, ноги подкосились и он упал. Сощутив глаза, я смотрел, как он встает; ждал, что он скажет, чувствовал, что каждый мой удар принесет ему облегчение, после того, как судьба избавит нас друг от друга. Он понимал, что рано или поздно я избыю его, но искал встречи наедине — значит хотел этого. Кроме того, он хотел что-то объяснить.

Он поднялся и сказал: «Это ни к чему».

Кажется, он твердо знал, что в любом случае должен быть со мной и должен терпеть мои выходки.

Мне бы бежать, но я ударил его еще раз. Он упал и долго не мог встать. Из рта текла кровь.

Он сказал: «Ну, это ни к чему».

На следующий день мне объявили семь суток ареста.

Венский ходил к ротному и говорил, что сам затеял драку и если сажать, то сажать обоих, но ротный знал меня, как облупленного и не стал его слушать; тогда Венский оскорбил сержанта и ему объявили трое суток. Он твердо знал, что должен быть со мной везде. Но перед арестом каждый был обязан пройти медицинский осмотр. В санчасти Венского сажать запретили.

Через два дня меня отвезли на гарнизонную гауптвахту.

Конвойные отобрали деньги, документы, все, что режется и все, на чем можно повеситься; в поисках сигарет обшарили карманы, засовывали пальцы под погоны, вытряхивали сапоги, вынув стельки, прощупы-

вали одежду на швах; потом составили список отобранного, дали расписаться, отвели в камеру, сняли замок с откидных нар и сказали, что могу спать до завтра, потому что сегодняшний день в срок не войдет и жрать сегодня не дадут.

Камера была на четверых — дверь, обитая листовым железом и выкрашенная в зеленый цвет, со смотровым окошком на уровне глаз, серые, бетонные стены — в стене, напротив двери, грубо пробитая отдушина во двор, в углу сорокалитровый бак с питьевой водой и кружка. Больше ничего.

Я завалился на деревянные нары и уснул. Проснулся от тяжелого топота сапог по коридору. Было поздно. Арестованные вернулись с работ. После отбоя выяснилось, что со мной в камере сидели двое — смуглый морской пехотинец и высокий, толстый узбек — они зашли в камеру, хмуро покосились на меня и повалились на нары. Конвойные закрыли дверь снаружи и над смотровым окошком внутри камеры зажегся кошачий глаз тусклой, двухсотдвадцативольтовой лампочки дежурного освещения.

Морской пехотинец глухо ворчал, что не успел сходить по нужде и теперь придется терпеть до утра, потому что по ночам из камер не выпускали. Узбек молчал, притворялся, что не понимает по-русски. Обоих посадили на десять суток за самоволку — морской пехотинец сказал, что бегал к бабе, а куда бегал узбек, никто не знал. Морской пехотинец отсидел двое, а узбек трое суток.

Ночью в камере было холодно и сыро.

Губу подняли в пять утра.

Мы построились в коридоре и угрюмо ждали развода.

Нас разбили на группы, по десять-пятнадцать человек, вывели на улицу, раздали лопаты, ломы, носилки и определили места работ. Нашу группу погнали на далекий, заброшенный пустырь копать канавы — то ли для мусора, то ли для пищевых отходов. За нами следовали двое конвойных с пулеметами. Один из них, долговязый, меланхоличный парень, сидел в стороне на ржавом, перевернутом ведре, положив пулемет на колени дулом в нашу сторону и не спеша мастерил игрушки из утильной резины.

Я давно столько не бегал, и никогда не бегал столько с носилками и ломом.

К обеду узбек был ни жив, ни мертв, а после обеда и до ужина, вяло махал лопатой и плакал в вырытую яму.

Мы были грязны, как ветки, вытащенные из бота.

Ночью у меня сводило ноги.

Морской пехотинец храпел так, точно по бетону двигали трехметровый шифоньер.

Скоро я привык к режиму и делал все автоматически, почти не уставая. Но узбек не мог к этому привыкнуть и каждый день плакал.

На шестые сутки, растянувшись на нарах после отбоя, морской пехотинец сказал: «Завтра вам выходить. А мне через день», — ухмыльнулся, глядя на узбека: «Здесь не плохо, а?» — и засмехался.

Узбек задрожал от ярости.

Морской пехотинец сказал: «Главное, здесь быстро летит время и хорошо кормят».

Ближе к утру я открыл глаза и увидел, что узбек сидит на нарах, зажав руки между колен, и раскачивается из стороны в сторону. Потом он встал и прошел-

ся по камере, приглядываясь, спит ли морской пехотинец, вновь сел и внимательно посмотрел на меня. Я не шевелился. Тогда он подошел к баку с питьевой водой и снял крышку. Он стоял ко мне спиной, заслонив бак. Я поднял голову. Узбек расстегивал штаны. Я встал. Он быстро повернулся ко мне. В его расширенных, черных глазах отражался тусклый свет лампочки.

Я сказал ему сквозь зубы: «Ах ты, сука».

Его лицо исказилось и он двинулся на меня. Я стоял на месте и думал — если он ударит боковым, моя песенка спета, но он ударил прямой правой, я отклонился влево, но недостаточно быстро и его кулак задел шею, так, что отнялось пол-голова. Узбек по инерции налетел на меня и я двинул ему коленом в пах. Он захрипел, брызгая слюной и сломался пополам. Я сделал шаг назад и начал избивать его кулаками, пока он не повалился на пол. Морской пехотинец сидел на своих нарах и протирал глаза. Я сказал, что к чему, мы подняли узбека и помогли добраться до нар. Он задышался и говорил мне: «Гад, гад. Завтра й сказать. Ты останься здесь еще десять суток. Гад. Останься здесь... Еще десять суток».

Я лег, разглядывая тусклую лампочку. У меня саднило кулаки, а большой палец на правой руке был вывихнут. Странно, что конвойные ничего не слышали.

Морской пехотинец настойчиво шептал узбеку: «Ему за драку накинута не больше пяти суток, а тебе, за то, что поссал в питьевой бак, не меньше десяти». А узбек, задыхаясь, шептал: «И не поссал». Но морской пехотинец шептал: «А кто это знает? Пробовать не станут, а мы вдвоем скажем и нам поверят». Узбек молчал, тяжело дыша, а потом зашептал: «А что й сказать? Почему такой лицо, а?» А морской пехотинец шептал:

«Скажешь, что во сне ударился мордой об стенку». Узбек все понял, и зашептал: «Не понимай». Морской пехотинец вышел из себя и зашептал: «Ты кто по национальности?» А узбек зашептал: «Асфалтировщик».

Но старания морского пехотинца пропали даром. Никто ничего не спросил. Утром узбека забрали в часть. Перед этим он подошел ко мне, обнял и зашептал: «Немок, немек, понимаешь» — и зашептал — «Никак». Потом он убежал.

Остальных построили на развод.

В тот день мне добавили пять суток за окурок под моими нарами. Я не знал, подбросил окурок узбек или в камере просто курили конвойные.

На следующий день вышел морской пехотинец.

Я остался один. Днем до бесчувствия работал. По ночам думал о Венском.

Потом мои сроки истекли.

Меня везли в часть.

Я хотел спать, больше чем жить.

Стояла чудесная погода. Над крышами домов висела золотая сеть солнечного света, поймавшая всех птиц над городом. По улицам шли люди, которые никогда не встретятся с Венским.

В роте никого не было. Всех увели на полигон резать дерн для маскировки дзотов.

Я сел на койку и попробовал снять сапоги, которые не снимал двенадцать суток, но из этого ничего не вышло. Взял у дежурного штык-нож, распорол голенища почти до подметок, бросил сапоги под койку, надел чьи-то драные тапочки и поковылял к старшине. Купил у него две пачки сигарет, взял какой-то журнал, прихватил табурет и пошел в умывальник. Сидел у окна, курил и читал. Прочитал рассказ про маленькую,

деревенскую девочку и огромную свинью, потом прочитал стихи, над которыми помещалась фотография красивой молодой женщины. Стихи были плохие, но женщина была настолько красива, что не напечатать ее стихи мог только импотент. Потом рассматривал комиксы.

Кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза и увидел Венского.

Он страдальчески улыбнулся и сказал: «Я о драке никому не говорил».

Я сказал: «Чтоб ты сгорел».

Он покраснел, как собачий язык и сказал: «Я никому ничего не говорил»,— повернулся и ушел. Кажется, он плакал. Он что-то чувствовал, чтоб мне сдохнуть, он все время чувствовал себя виноватым передо мной.

В четверг ротный построил роту и сказал, что через семь дней намечается стокилометровый марш по горным дорогам. Для механиков-водителей это означало семь дней не вылазить из-под бронетранспортеров. Он зачитал состав экипажей. Моим радистом числился Монашка. Венский был радистом в экипаже 204-го БТРа, который по номерному порядку должен был идти в колонне перед моим 205-ым. Механиком-водителем 204-го был Брагин.

Нас отвели в автопарк.

В другое время я бы пальцем не шевельнул — слонялся по ремзоне или спал бы в подсобке. Но во мне росло предчувствие беды.

Я поменял масло в движке, заменил топливный насос, поставил новый стартер, проверил генератор и реле-регулятор, заменил топливные фильтры, тогда как многие ездили вообще без них. Те, кто проходил мимо, видно, думали, что я рехнулся. Отрегулировал

сцепление, полностью проверил рулевое управление и всю тормозную систему. Потом вспомнил, что на последнем марше грелась ступица левого переднего колеса. Снял колесо и ступицу, заменил подшипник, густо смазав его солидолом. Ставил колесо, ворочая тяжелой монтировкой, когда что-то заставило меня оглянуться, оглянулся и увидел Венского, который стоял в двадцати шагах, около большой, черной канистры с негролом и неотрывно следил за мной.

Я понял, все,— что делал, было ни к чему, присел на корточки, тупо глядя на свои грязные руки и на гаечные ключи под колесом. И чувствовал себя, как в конце войны, когда больше нет сил жить ненавистью и нет воли не жить тоской.

В субботу Монашке подписали увольнительную на сутки. Он взял у Брагина адрес какой-то безотказной брюнетки, вымылся, почистил зубы, выгладил форму, оделся и махнул в город.

Он вернулся в воскресенье вечером, сияющий точно блудливая комета, едва выстоял вечернюю поверку, разделся, выпрямил исцарапанную вдоль и поперек спину и не спеша пошел в умывальник, наклонив голову так, чтобы все видели лиловый, продолговатый засос под левым ухом.

Следующие два дня и две ночи он болтал, не умолкая. На третий день кое-кто видел, как он вялой походкой вышел из туалета, молча подошел к своей тумбочке, достал чистый лист бумаги, конверт и сапожный крем, снял один сапог, намазал подошву кремом, положил чистый лист на пол, одел сапог и наступил на лист всей ступней. Потом сложил лист с трафаретом подметки, засунул в конверт, написал адрес брюнетки и бросил конверт в ротный ящик для писем.

После обеда он подошел ко мне, глядя вдаль голубыми, скорбными глазами, поднял голову, словно в ожидании дождя и сказал: «Кажется, я влип».

Я прикурил, посмотрел на Венского, который шатался неподалеку со своей поганой, виноватой улыбочкой и буркнул: «Я тоже влип, когда родился».

Монашка сказал: «Мне нужно в госпиталь».

Я спросил: «Зачем?»

Он сказал: «Провериться». — Помолчал и сказал: «Ходил к ротному... Говорю, мол, плохо чувствую, нужно в госпиталь. А замену на марш, мол, найдете».

Я спросил: «А он?»

Монашка сказал: «А он говорит, ладно, мол, тебя Венский заменит».

Я помолчал и сказал: «Ты поедешь в госпиталь сразу после марша».

Он уставился на меня и спросил: «Почему?»

Я сказал: «Потому что ты мой радист. И баста».

Потом я пошел в санчасть. Вместе с санинструктором полтора часа рылись во всех ящиках и аптечках, нашли вибрамицин, диазолин и нистатин. Отнес таблетки Монашке.

Двадцать четвертого апреля роту подняли по тревоге.

Колонна бронетранспортеров вышла из части, обогнула город, прошла через плато и потянулась в предгорье.

Дорога была извилистой и узкой.

Подъемы чередовались со спусками.

Я вел БТР, прислушиваясь к работе двигателя.

Поплевал через плечо.

И тут, на одном из подъемов, БТР заглох. Я выключил зажигание, включил вновь и попробовал пустить движок со стартера, но стартер крутил вхолостую.

Измученный Монашка сказал: «Что-то сгорело».

Я сказал, чтобы он заткнул пасть. Потом вылез на броню.

Два БТРа позади остановились, остальные подтягивались. БТР Брагина — впереди, остановился тоже. Первые четыре скрылись за поворотом.

С 208-го орал через мегафон ротный: «Ну? Что там?» — орал он. «Ну?»

Я видел, что мы не разъедемся — слишком узка дорога.

Рев двигателей давил на барабанные перепонки, как десятиметровый слой воды.

«Буксируйте!», — орал в мегафон ротный. «Брагин, возьми его на буксир», — заорал он Брагину, а мне заорал: «Отвязывай трос!»

Я спрыгнул на землю и отвязал трос. Брагин сдавал назад. Я зацепил трос и влез в БТР. Брагин дернул рывком. Через триплекс я увидел синие выхлопные газы и услышал, как лопнул трос, а БТР Брагина попер в гору. Венский, сидевший на броне 204-го, наклонился к люку и закричал Брагину, что трос оборвался. Брагин затормозил и начал медленно сдавать. Кроя матом все на свете, я вылез снова, но Венский опередил меня. Его сапоги были в белой пыли. В руках он держал другой трос.

Он сказал: «Ничего, я зацеплю».

Я стоял сбоку и смотрел, как ловкие, проворные руки пианиста, неловко цепляют трос за скобу и хотел зло смеяться. Наконец он зацепил трос за БТР Брагина, повернулся к нему спиной и принялся завязывать другой конец за мою скобу. И только по тени, наползавшей на сапоги Венского я понял, а потом увидел что БТР Брагина катится назад — это часто бывает,

когда сидишь за баранкой, думаешь черт знает о чем и ничего не замечаешь.

Венский стоял спиной к БТРу Брагина и старался зацепить трос.

Я видел тень на спине Венского и видел, что через две секунды он будет раздавлен между бронетранспортерами.

Все решается само собой и чем больше об этом говорить, тем дольше это останется неразрешимым.

Я не хотел думать и не хотел кричать, потому что, когда кранты, думать и кричать смешно.

Я прыгнул в тот момент, когда Венский поднял голову и, когда задний борт брагинского бронетранспортера находился в нескольких сантиметрах от его спины. И я вложил в удар руки всю свою жизнь и все, что было, и все, что должно было быть. И прежде чем мои кости хрустнули между стальными бортами, увидел, как тощее тело Венского, подброшенное моим ударом, перевернулось, точно неуязвимая кукла, и он упал в двух метрах от бронетранспортеров.

Меня положили на обочине дороги в теплую, мягкую пыль. Кто-то снял с меня шлем и гладил по голове. Наверное, Венский.

Я говорю вам, кончайте ваши блядские штучки.

Я говорю вам, не нужно меня никуда нести. Движение имеет смысл для вас. Для меня смысл в неподвижности.

Но вы меня не слышите.

Я не открываю глаза, потому что знаю, что увижу — вся колонна остановилась, кроме первых четырех бронетранспортеров, которые скрылись за поворотом.

Не знаю, смогу ли вообще открыть глаза. Я ничего в себе не чувствую. Ваши голоса едины с грохотом па-

дающих камней и грохотом полигона. Все живое едино с мертвым.

Не нужно меня никуда нести.

...Она давно идет ко мне по серым дорогам, поступью легкой и бесшумной, как оседающий пепел.

Не трогайте меня.

Я хочу это видеть.

Два больших рассказа Дмитрия Бакина были поочередно опубликованы в «Огоньке» эпохи «перестройки» (когда тираж этого журнала превышал два миллиона экземпляров). Эти рассказы были внимательно прочтены самым массовым читателем и вместе с тем произвели потрясающее впечатление на чутких ценителей литературы. Вышедшая в приложении к тому же журналу тоненькая книжечка Бакина закрепила первоначальное ощущение: в русской прозе появился новый значительный мастер. При этом — очень молодой, и эти ошеломляющие рассказы предположительно — только начало....

В творчестве Бакина сочетаются огромный и трагический жизненный опыт, глубокое знание людей и обстоятельств, высокое словесное мастерство. Его речь одухотворенна, экзистенциальна, многосложна. Одними и теми же словами писатель говорит о разных сторонах бытия, и это — первый признак немалого дарования. Говорится же всегда о самом главном...

Фигура Д. Бакина в современной русской литературе таинственна. Очевидно, его жизнь отягощена заботами, необходимостью тяжелым трудом добывать для семьи хлеб насущный. Известно, что писатель работает водителем грузовика (эту про-

фессию он, вероятно, приобрел еще в годы военной службы, описанной в одном из рассказов). По собственному признанию Бакина у него «мало времени для литературы». Его публикации эпизодичны, полного признания еще нет. Отрадное исключение — книга, изданная во Франции... Образ жизни Бакина в передаче радиостанции «Свобода» назван «литературным самоубийством». Тем не менее, все на этот день изданные произведения Бакина являются бесспорным литературным фактом. Как не вспомнить слова одного американского критика, который в 20-х годах на семинаре «Задачи американской критики» заявил, что у американской критики — одна задача: всемерная поддержка молодого Уильяма Фолкнера.

Русская проза — одно из величайших явлений мировой культуры. В советские годы ее уровень катастрофически понизился; можно назвать только нескольких больших писателей, сумевших осуществиться, вопреки нажиму «советизма». Десятилетие назад русская литература потеряла Юрия Казакова, последнего писателя еще в какой-то мере соотносимого с мастерами начала века. Все остальное — отдельные удачи... Впрочем, и во всем сегодняшнем мире мало по-настоящему крупных прозаиков, сравнимых с нобелиатами первой половины века. Теперь получается так, что премия Нобеля чаще дается стране, чем действительному гению. Поэтому каждое (столь редкое в наши дни) открытие действительно незаурядного дарования — мировое культурное событие и общая надежда.

Когда-то о Поле Валери было сказано, что он вошел в Академию, не будучи «обременен литера-

турой». Действительно: горстка стихотворений, и — первый поэт Франции!.. Тем не менее все же существует закон относительного количества. Качество сделанного Бакиным высоко, и уже существующие его рассказы останутся в русской литературе. Если ему удастся при том же качестве дать количество, он станет великим писателем.

Михаил Синельников
8 июля 1995.



Санкт-Петербургский

ДОМ КНИГИ

отдел "Книга—почтой"
рассылает по России
наложенным платежом
книги и журналы.

Обращаясь к нам, укажите тематику,
по которой Вы желаете получить
списки книг и журналов.

Наш адрес: 191186, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., дом 28.

"ЛИМБУС ПРЕСС" LTD

издательство & типография

*Любые виды полиграфических работ: книги, журналы,
буклеты, плакаты, визитки и т.д.*

*Самое высокое качество благодаря квалификации
персонала, современной полиграфической технике,
лучшим отечественным и импортным материалам.*

Скидки постоянным заказчикам.

Закключаем договоры на поставку книг
собственного издания:

1. **Сергей Довлатов. "Собрание сочинений в 3-х томах"**. Издание второе
2. **А. С. Пушкин. "Лицейская лирика"**.
Подарочное издание
3. **"Поздняя русская икона. Конец XVIII—начало XIX веков"**. Художественный альбом-каталог на английском, немецком, итальянском, русском языках.
4. **Б. Г. Федоров. Англо-русский банковский энциклопедический словарь**. 10 000 терминов

Адрес: 198052, Санкт-Петербург,
Измайловский пр., 14
Тел. 112-65-47, факс 112-67-06

В издательстве
"ЛИМБУС ПРЕСС"

готовится к изданию в 1996 году:

1. Тит Ливий. "Война с Ганнибалом".
Составление и обработка С. Маркиша.
Художник О. Яхнин.

2. Е. Валова-Шамшурина.
"Прогулки со Сфинксом. Эрмитаж".
Путеводитель для детей.

3. Исаак Зингер. "Люблинский штукарь".

4. Ф. Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".

5. Ф. Горенштейн.
т. 1. "Ступени",
т. 2. "Место".

Бакин Дмитрий Геннадьевич
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Литературное издание

Редактор *О. Давтян*
Художественный редактор *А. Веселов*
Технический редактор *М. Гутенберг*
Корректоры *Н. Капитонова,*
Р. Сафарова, А. Тихомиров

Компьютерная верстка
Е. Дубинникова, Т. Полякова
Компьютерное обеспечение
А. Буреев, Е. Падалка

Сдано в набор 1.11.95. Подписано в печать 22.01.96.
Формат 60 x 88/16. Гарнитура "Таймс".
Печать офсетная. Объем 10 п. л.
Тираж 5 000 экз. Заказ 857.

Издательство "Лимбус Пресс".
Лицензия ЛР № 070054 от 25.07.91.
198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14.

Отпечатано в АООТ «Типография "Правда"».
191126, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14.

